

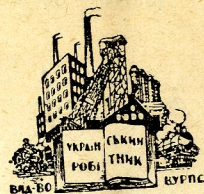


АРКАДИЙ
ЛЮБЧЕНКО

ДАЛЕКИЕ
И
БЛИЗКИЕ

"УКРАИНСКИЙ
РАБОЧИЙ"

д. Страхов



Тип. „Украинский Рабочий“
Укрголовліт № 1257
Тираж 4000
Зак. № 2/41
Харьков
1927

10
УКРАИНСКИЕ ПИСАТЕЛИ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ

АРКАДИЙ ЛЮБЧЕНКО

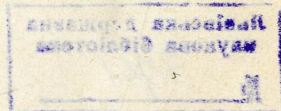
ДАЛЕКИЕ и БЛИЗКИЕ

РАССКАЗЫ

Перевод с украинского Т. Кардиналовской
под редакцией автора

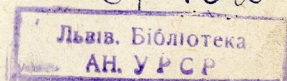
Вступительная статья
ПРОФ. А. БЕЛЕЦКОГО

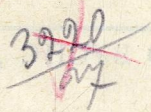
св. авт. см. Т. Кардиналовской
15.08.1974 г. у.с.с.р.

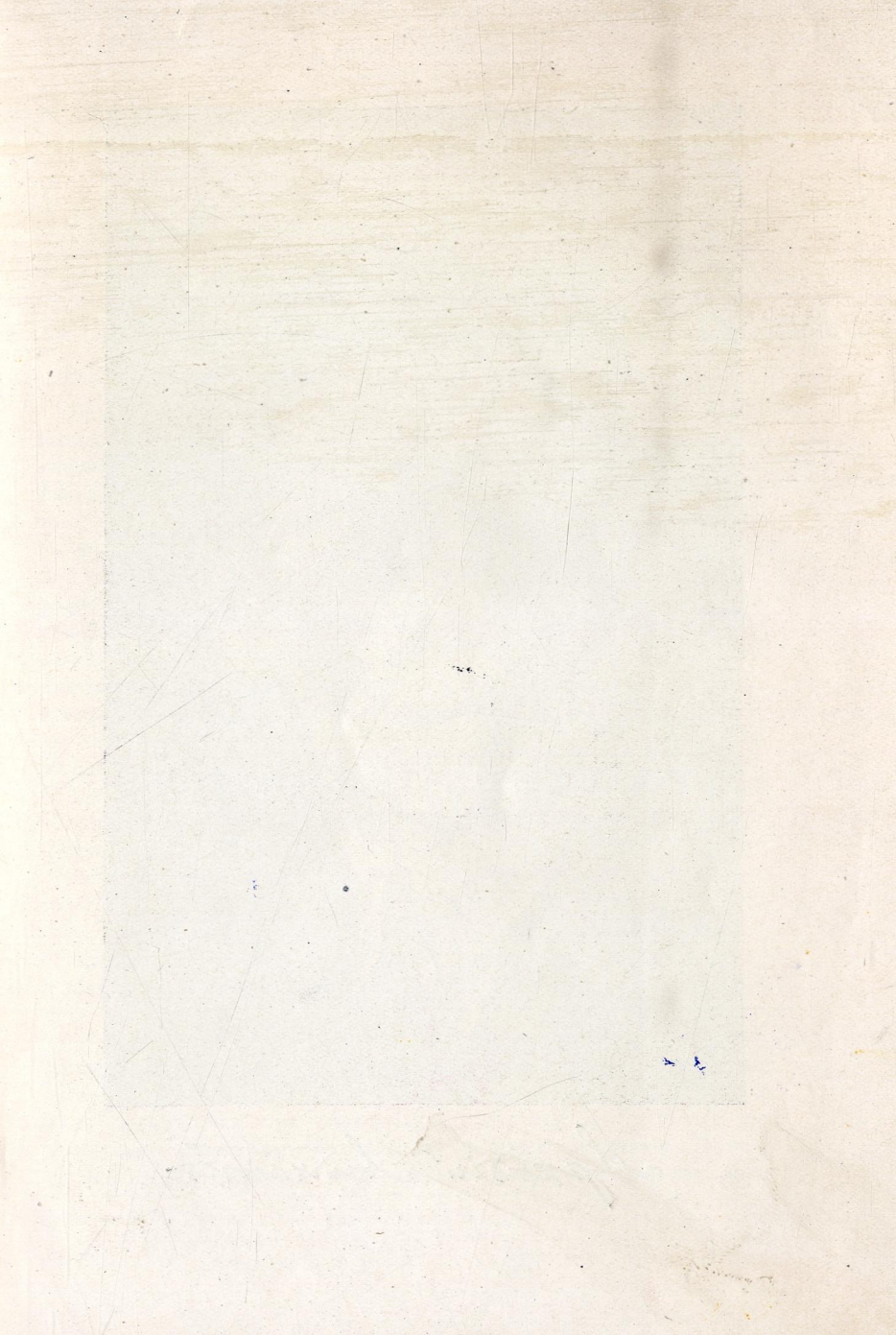


ИЗДАТЕЛЬСТВО ВУСПС „УКРАИНСКИЙ РАБОЧИЙ“

37.162









Александр Николаевич

АРКАДИЙ ЛЮБЧЕНКО

Нет ничего труднее, как дать сколько-нибудь законченный портрет молодого писателя, даже если талантливость этого писателя несомненна, если его выступление отмечено авторитетной критикой, если факты показывают, что ему удалось найти своего читателя и, более того, проникнуть в широкую читательскую массу. Конечно, как утро показывает, каков будет день, так литературное „детство“ намекает на свойства грядущей литературной зрелости; но мы плохо верим в прирожденные черты личности: мы знаем, как много в ее дальнейшей судьбе и деятельности значит влияние среды, обстановки, общения, и как радикально они меняют характер, начавший обозначаться в определенном направлении. У молодого писателя выражение лица обыкновенно часто меняется — и не мудрено: ранний период творчества — это период исканий, нащупываний, почти неизбежного разбрасывания от одних тем к другим, от одних стилистических приемов к новым. С одной стороны, жадно впитываются чужие влияния, властно манят к себе господствующие литературные традиции, а с другой — идет упорная борьба с этими традициями за своеобразие своего литературного „я“, за возможность говорить с читателем своим языком, голосом, который можно было бы различить в хоре других, пусть даже родных и близких.

Аркадий Любченко именно один из таких молодых писателей-беллетристов, выступивших в украинской литературе после Октября и пока что насчитывающих в своем литературном формуляре одну книгу и несколько отдельных вещей, разбросанных по страницам современной печати. Любченко печатает немного, выступает, как художник, осторожный и требовательный, как будто боящийся форсировать свои силы прежде, чем они окончательно окрепнут. До 1926 года мы могли знать о нем, как об одном из молодых участников „Гарта“, группы пролетарских писателей, организованной в 1923 году покойным

В. Блакитным-Еланом, в первом сборнике „Гарта“ появился его небольшой опыт „Гордійко“, и тогда же, в 1924 году Госиздат Украины выпустил (в серии „Библиотека художественной литературы“) небольшую книжку Любченко — „Кукіль“ с тремя рассказами, написанными неплохо, но не позволявшими определить ни характера подаваемых писателем надежд, ни направления его художественных исканий. В том же 1924 году был написан, однако, рассказ „Зяма“, о котором у нас будет идти речь и дальше, и о Любченко стали говорить чаще и увереннее. Теперь, после выхода в 1926 году сборника „Буремна путь“, в короткий срок выдержавшего два издания, после ряда иных вещей в журналах 1925—1926 гг. эта уверенность получила под собой основания. Автор „Зямы“ уже сейчас — заметная сила в украинской литературе после-октябрьского периода, и притом сила, богатая будущими разнообразными возможностями.

Можно ли, однако, уловить в его творчестве какую-нибудь основную черту, которая позволила бы уже сейчас хотя бы приблизительно наметить место писателя в революционной литературе, если не общесоюзной, то хотя бы украинской? Определился ли А. Любченко именно как А. Любченко, писатель неповторяемый и не повторяющий, своеобразный, в такой-то ему одному принадлежащей литературной области? Есть ли у него свои темы, свои приемы и жанры?

При поверхностном взгляде может показаться, что этого еще нет, что писатель, как и вся подобная ему революционная литературная молодежь только ищет и пробует себя над различными темами, приемами и жанрами: Вот зарисовал он героический образ Зямы, еврейского юноши, скромная внешность которого как будто менее всего может внушить мысль о героизме и в котором октябрьская революция раскрывает ему самому дотоле неведомые силы и свойства, вплоть до жертвенной смерти в борьбе за свободу и власть трудящихся. А рядом в рассказе „Из темной передней“ на первом плане психологический образ — тип старого Яна, бывшего кучера заводовладельца, а теперь сторожа на том же самом заводе, где он остался жалким обломком безвозвратно ушедшего прошлого, словно налетом пыли в той темной передней заводской конторы, где он так любит сидеть в широком старинном кресле с продранным дном. Далее степная легенда о Гайдаре, из тьмы далеких веков, не рассказанная, а пропетая изумляющей богатством языка лирической прозой — и тут же „Рассказ о бегстве“, такой скупой на лирику опыт изображения психологических

состояний человека, попавшего во враждебное окружение и в течение нескольких дней колеблющегося на тоненькой ниточке между жизнью и угрозой смерти — эпизод из войны на польском фронте, рассказанный от лица пережившего эту угрозу и повествующего о прошлом со спокойствием наблюдателя. А дальше прослеженная на трех лицах картина расслоения современной деревни — „Дни юности“, где психологическое задание тесно сплетается с задачей изображения нового быта. Так и в других вещах: можно ли говорить о каком-либо единстве писательского образа по этому материалу?

Можно. У Любченка есть одна постоянная тема, ему особенно близкая и пока являющаяся крепким стержнем его творчества с конца 1924 года. Он — поэт молодости и ее безграничных возможностей, изобразитель ее благих и творческих порывов, ломающих ветошь старой, безвозвратно обреченной на гибель жизни и пролагающей пути в светлое, полное радости и смысла будущее. Это объединяет коммуниста Зяму с коммунистом же Савкой Безулым и его подругой Зосей („Из темной передней“), с героем — рассказчиком очерка „Via dolorosa“, с Тетянкой и Марком „Дней юности“, с рассказчиком „Бегства“ и легендарным Гайдаром доисторической старины. Все они на пороге своей жизни стоят так или иначе перед задачей выбора: либо общий путь, „хатнее счастье“, либо — простор и воля, нечто неведомое и опасное, но тем более прекрасное в своей новизне; и всех их так манит этот простор, это непознанное будущее, в котором так много и крассты и угрозы одновременно, что им не стоит большого труда порвать сплетенную для них стариками, бытом, характером собственного воспитания нить и победоносно взмахнуть крыльями, полететь туда, где живет эта „розмайна воля“. И горе тому, кто поколебался в этот момент выбора, как в свое время поколебался, напр., Корниенко, предпочтя в итоге трясиный покой „Тихого хутора“ завирухам и грозам революционной борьбы. Для них настанет момент мучительного раздвоения, которое и переживает Корниенко, очутившийся между своим юношеским прошлым, воплощенным в образе бывшего товарища по борьбе Зины и безвыходным настоящим — низенькой комнатой с граммофоном и детскими пеленками и безнадежной мешанкой-женой. После робкой попытки стряхнуть кошмар настоящего останется, согнув голову, тихо и покорно идти проторенной тропой назад на Тихий хутор, имя которому моральная смерть. — Вспоминается увещание Гоголя: „Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких

юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!

Нам не приходится, думая о нашем юношестве, говорить о мягких летах; но многим из нашей молодежи предстоит та же задача выбора, которая нередко стоит перед молодыми героями Любченко и которую большинство из них, с колебаниями и без колебаний, решает в пользу того „нового, великого, огромного“, которое принесла с собою пролетарская революция. Уходит к Марку Тетянка („Дни юности“), уходит к Савке дочь старого Яна Зося („Из темной передней“), в революцию уходит, преодолев и свою природу и нежную любовь к старой матери, Зяма — и во всех их живет один неискоренимый инстинкт, что „самосохранение“ не в „хатнем счастье“, не в „тихом хуторе“, а на бурном („буремном“) пути к воле.

Если можно, таким образом, очертить круг наиболее излюбленных писателем тем, можно, в свою очередь, указать и типичные для Любченка, как повествователя, художественные приемы. Украинская художественная проза наших дней стоит пока что на распутьи — между прозой „лирической“ типа раннего Хвильевого и прозой „сюжетно-динамической“, опыты в которой даны были, напр., Слисаренко в двух сборниках повестей и рассказов. Непосредственная связь со старыми мастерами дореволюционного импрессионизма поддерживается сейчас лишь немногими авторами, стоящими в стороне от магистрали после-октябрьской литературы, и молодым писателям приходится искать художественного мастерства ощупью, то полагаясь на свое чутье, то учась у новых русских писателей, которые часто сами нуждаются в учебе, то ориентируясь на Европу, идеологически нам глубоко чуждую.

Аркадий Любченко, испытавший влияние „лирической прозы“ в известной, хоть и не очень большой степени, не увлекся, однако, и прозой „сюжетно-динамической“. У него, можно было бы сказать, позиция средняя между тем и другим типом повествовательной прозы. „Можно было бы сказать“ — если бы не чувствовалось все яснее, что его влечет к себе проза с установкой на „психологию“, — область одно время заброшенная нашей беллетристикой и вызывающая сейчас к себе вновь интерес, возрастающий с каждой новой попыткой. „Рассказ о бегстве“ весь построен на изображении чувств и эмоций человека, преследуемого и скрывающегося от погони;

в „Днях юности“ показан психологический перелом, ускоренный под влиянием внешней обстановки; психологические же по преимуществу проблемы поставлены и в „Зяме“, и в „Тихом хуторе“, и в очерке „Via dolorosa“, этой эмоциональной поэме в прозе, где сюжет мелькает в поле воспоминания, где тяжелая, хоть и обычная, драма наших дней отодвинута вглубь повествования тонкой игрой настроений главного героя-рассказчика.

Психология героев при этом редко раскрывается в форме диалога; любопытно предпочтение (напр., в „Днях юности“) косвенной речи перед прямою; но автор, вообще, не столько описывает настроения и переживания действующих лиц, сколько стремится их показать в их внешнем физическом выражении, тщательно следя за игрою лица, случайными жестами и позами. В этом, как и в других деатлях, сказывается типичное для Любченко искание образного и в то же время точного, по возможности, широко охватывающего предмет или явление словесного обозначения. Характерна, напр., скупость нашего автора на сравнения, скупость, объясняемая, на наш взгляд, именно тем, что сравнение, раздвигая рамки описания или рассказа, отвлекает мысль в сторону от основного задания речи. А. Любченко хочется сосредоточить внимание на данной картине, действуя ею самою, а не побочными, сопутствующими ей эмоциями, иногда случайного порядка.

Этот поэт юности не по-юношески строг к своей форме, к своему стилю и композиции: он, вообще, скуп на слова и лишь изредка, в певучей ли „Гайдар“ („Степной легенде“), в пейзажных ли обрамлениях „Дней юности“, или в тонкой живописи осеннего вечера „Via dolorosa“ он показывает, какие сокровища слова он успел уже накопить, и начинает разбрасывать их со щедростью, по временам даже излишней.

Такова проза А. Любченко. Современный украинский читатель воспринимает ее, как нечто, стоящее особняком в текущей литературе, не повторяющее и не продолжающее опытов раннего Хвильевого или иного из пионеров революционной беллетристики. Не является она и непосредственным развитием традиции импрессиониста Коцюбинского, хоть, быть может, кое-какими уроками произведений старшего мастера автор „Дней юности“ и „Via dolorosa“ и воспользовался. Но эти уроки ограничились областью словесного выражения замыслов. Есть своеобразие в мастерстве нашего молодого писателя — в мастерстве,

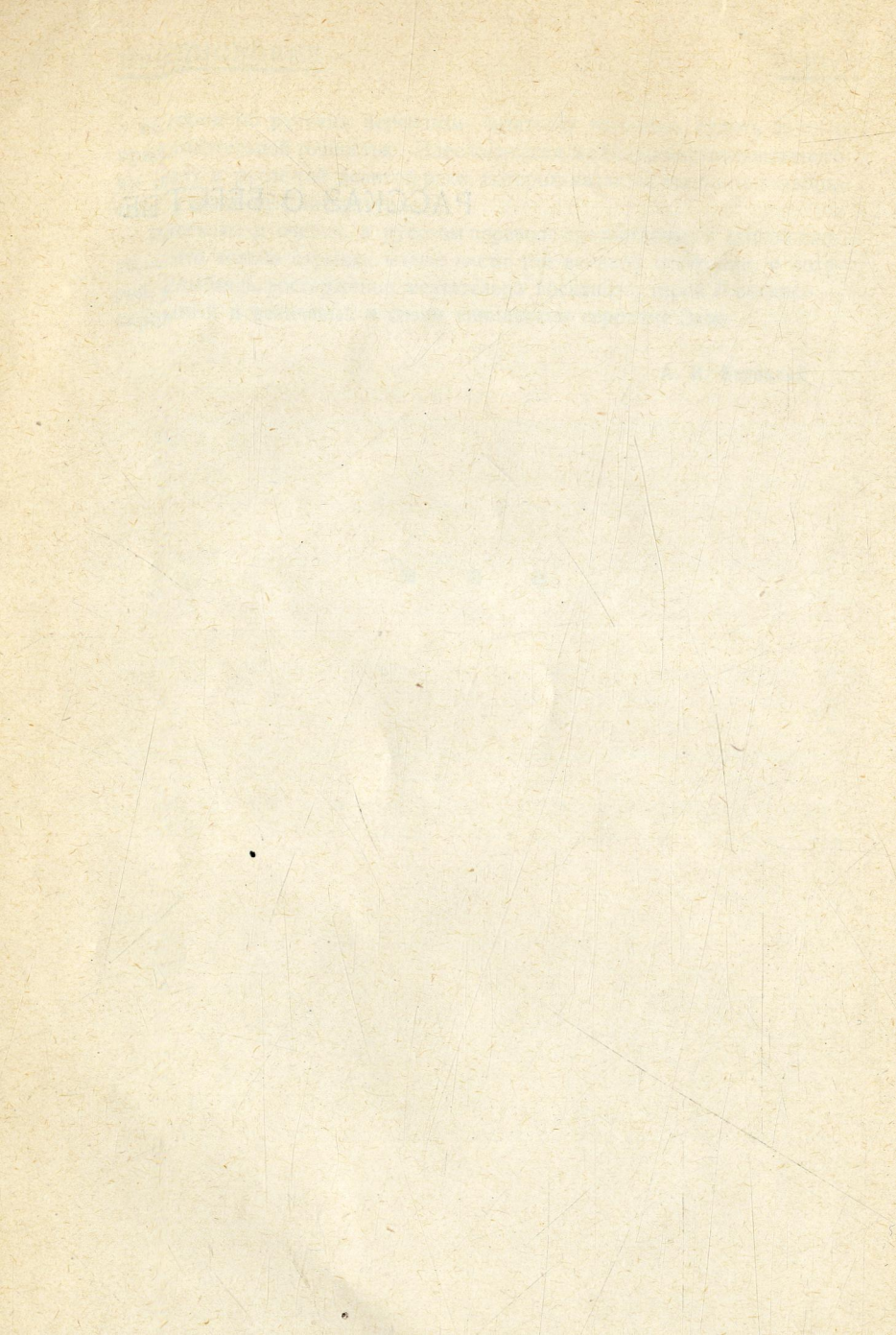
о котором по русским переводам читателю придется судить лишь с приблизительной точностью. Идеологически же большинство созданного им идет в русле той великой реки, которую является вся после-октябрьская украинская литература.

Рассказы и очерки, в русском переводе предлагаемые в данной книге,— это только отрывки, малые части той великой симфонии, о которой, улыбаясь, восторженно, мечтательно восклицает герой Любченко — скромный и величавый в своем юношеском героизме Зяма.

А. И. Белецкий



РАССКАЗ О БЕГСТВЕ



На этот раз за маленьким столиком, в чистом, отделенном длинной перегородкой, уголке встретились Рубич, Красовский и я. Встреча, как и всегда, произошла случайно. У нас было слишком мало времени, чтобы мы могли навещать сюда чаще, а если и забегали, то, выпив стакан чаю или бутылку пива, спешили прочь, озабоченные, невнимательные, с лаконическими фразами, с мимолетными улыбками.

В этот раз выдался слякотный осенний вечер, к тому ж воскресный. Рубичу, редактору газеты, нечего было спешить на завтра с передовицей, нам нечего было торопиться на улицу, в объятия пронизывающего ненастья — и все трое охотно остались здесь.

На втором этаже в ресторане играл квартет. Звучки долетали мягко, и в этом уютном уголке Григ казался еще теплее, непосредственнее. Разговор почему-то зашел о Польше, а потом Красовский и я обменивались воспоминаниями о минувших фронтовых делах. Красовский вообще любил говорить о них, рассказывал довольно красочно и часто поощрял к этому других.

Только Рубич сидел неподвижно, сосредоточенно сдвинув брови, с легкой доброй улыбкой. Таким он бывал всегда вне стен редакции, и на длинный

разговор, а особенно на воспоминания, его можно было соблазнить лишь изредка. Он умел слушать, умел располагать к себе — и только. Хотя известно было, что этот человек изрядно перекипел в котле недавних бурь.

— Будьте добры, бутылку, — сказал он, коснувшись своей кружки, когда Красовский закончил об очередном приключении. Его пальцы несколько раз суетливо потрогали дужку пенсне — неожиданный знак нетерпения.

— А вот... вот представьте себе так...

Рубич на мгновение остановился. Мы насторожились, придвинулись ближе.

— Представьте себе, друзья, так: вдруг небо падает. Момент — перед глазами, как в калейдоскопе, молниеносно проносится какое-то бурое полотно. Со всех сторон — тумачи. Больно выкручивает руку. Хлещет в лицо. Еще момент — и вы догадываетесь, что вы на дне ущелья. Вдогонку сыпятся комья земли. Шуршат. Раздражают неуместным шумом. Засыпают глаза. Вы срываетесь дальше. Каждая секунда дорога. Дальше отсюда! Мимо мелькают какие-то дома, какая-то фигура белым пятном шарахается в сторону. Узенькая речка вырывается из-под ног. Дальше, дальше! Уличка, крапива, дереза. Дальше!.. Трещит плетень, буйным шумом бежит вокруг высокая кукуруза.

— Пак! — сухо, резко, но далеко. И где-то в другом конце балки протяжно, дразняще в ответ: та-а-к!..

Это ведь подкрепляет, подталкивает — знаете? Вы мобилизуете последние силы, но кукурузе, кажется, конца-краю нет. Да еще шелест, предательский

шелест. И вы падаете, задыхаясь. Ползете еще немного, беря вправо, запутывая, пряча следы. Останавливаетесь. Сердце, словно сумасшедшее. Голова в тисках. Куда? Что? Как? Нет! Вы конвульсивно загребаёте руками землю. Вас ужасает мысль, что от земли сейчас насильно вас оторвут. Исчезнуть бы, провалиться, растаять. Ибо что может быть хуже, как с голыми руками стать перед вооруженным врагом? Вы припадаете ухом к земле, чутко прислушиваетесь. Сколько проходит времени — кто знает. Быть может, минута, может быть, десять, может быть, полчаса...

И вот — потрескивает, шелестит кукуруза. Идут. Осторожно... Хищно... Крадучись. Что? Да, да, идут... Бежать? Но это бессмысленно, Куда?.. Вы инстинктивно дергаетесь, не сходя с места. В животе внезапно холодеет. Ледяная волна тяжело подступает к груди, заливая ее. Грудь тесно, очень тесно в обручах этих маленьких, жалких ребер. И становится дурно, становится так гадко, словно вас сейчас затошнит, а пальцы спазматически глубже и глубже впиваются в землю. Но нет! Не может быть! Вы пересиливаете испуг, стискиваете зубы и напряженно вытягиваетесь, готовый ко всему. Один? Броситься неожиданно и выхватить винтовку. Лишь бы в руки винтовку! А если двое? Все равно, броситься! На это еще хватит сил. Так легче.

— Ссст...

И по всему телу словно мурашки. Из холода в жар. Из жара в холод.

— Ссст! — еще ближе.

Слыхали вы этакое предательское шипение? Оно до сих пор стоит у меня в ушах. Это — тонкая

инквизиция. Это словно длинная, раскаленная, невероятно болезненная игла, пронизывающая самые уязвимые места. Лучше крикнуть, лучше сразу броситься, бить, что хотите, только не...

— Ссст...—подают знак. Их двое, а возможно и больше. Заметили и перекликаются. Вот раздвинут стебли, вот...

— Ссст... Chodź tu! Antek!..— нетерпеливо, исподтишка.

Где-то, ломая стебли, спешат шаги.

— Antek, niema co, on uciekł.

— Uciekł, mówisz, psia mać! — падает в ответ громче, с досадой: — uciekł? A może...

— Co może? Morze szerokie i głębokie.. Chodźmy!

— Ale jak że? ...

— A niéch go piorón trzasnie! Ja sobie na tem płocie majtki porwałem. Chodźmy! No?..¹

Еще немного поспорили, поплевались. Наконец, о чем-то тихонько условившись, щелкнули замками карабинов. Ушли.

От сердца отлегло. Но положение мое было скверное. Теперь поставят на ноги всю власть, какая только есть в селе, весь „актив“, от жандарма до последнего самого незаметного сторонника Жечи Посполитой. И эти-то наиболее незаметные скорее всего заметят —

¹ — Антек, делать нечего, он удрал.

— Удрал, говоришь, собачья мать! Удрал? А может быть...

— Что может быть? (непереводимая игра слов). Море широкое и глубокое... Идем!

— Но как же?..

— А, да пусть его гром разразит! Я вот на этом плетне брюки порвал себе. Идем! Ну?

201.76

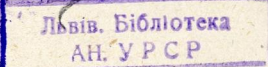
11

они - то весьма старательные люди. Единственная надежда на матушку-ночь. Надо будет переждать здесь до темноты и — шагом марш. Куда? Чорт его знает! Я, ведь, потерял направление. Придется наобум, а там — как-нибудь соображу.

Лишь только я попробовал устроиться поудобнее, как все тело заныло. Теперь, очнувшись, успокоившись слегка, я заметил, что на моих руках из-под налипшей земли проступает кровь. Один ноготь совсем оторван. Я его примитивно забинтовал листьями кукурузы. Но самое худшее: шея словно чужая, в прорванном рукаве сбитый локоть и ооченевшие, свинцом налитые ноги. Боль все росла. Росло и ощущение усталости. Надвигалась угроза, что ночь пропадет напрасно, что никакие усилия не помогут мне воспользоваться мраком. И понемногу мной овладевала реакция. Теперь я боялся лишь одного: если придут, если будут брать, будут мучить, — ни одна частица моего „я“ не сможет протестовать. Будьте добры, налейте...

И я заснул. Спал очень крепко и долго. Да и как могло не спаться? Не забывайте, что я уже две недели блуждал. Я убежал из польского плена. Как? Об этом в другой раз. Мне было известно об успехах нашего большого наступления, и я торопился, ободренный надеждами. По ночам я шел, днем прятался по лесам да бурьянам. Прошлой ночью я переплыл Стрипу, а на рассвете встретил на глухом спуске подводу. Это был крестьянин из Подолии. Его забрали поляки в фуршпан¹ (добро с Украины вывозили),

¹ Фуршпан — во время военных действий насильственная служба крестьянина лошадью и телегой.



загнали под самый Бучач, и теперь он с удостоверениями дефензивы возвращался домой. Он не был уверен, что какая-нибудь встречная часть не вернет его опять (и документы не помогут!), потому и держался в стороне, избегая проезжего тракта. Не легко было его остановить. Я ему машу, а он себе, не обращая внимания, этак равнодушно: н-но! пошел! Я ему кричать, а он прикидывается глухим, дергает вожжами, помахивает кнутом над лошаденками. У меня действительно мелькнула мысль, уж не слепой ли он, не глухой ли? Я забежал спереди. Мужик тпрукнул и, не опуская вожжей, тревожно, умоляюще посмотрел на меня.

— Куда эта дорога, отец?

— Да, говорят, на Борщов...

Значит, я не ошибался, шел более-менее правильно.

— А хлеб, отец, есть?

— Нету.

— Ну, так давайте.

— Да нету ж, говорю...

— Ну так давайте, говорю.

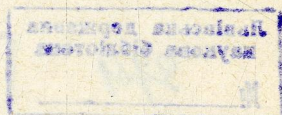
Он смерил меня с головы до ног. Вероятно, мой взгляд и выражение лица были достаточно импозантны, так как он завозился, оглянулся подозрительно кругом и полез под опалку¹. Вынимая сумку с харчами, спросил:

— А что вы за человек?

— Да разве не видите?

(Кстати, на мне была старая польская шинель и такая же кепка. Я их нарочно приобрел перед побегом).

¹ Мешок с овсом для лошадей.



— Да оно так... Только того...

— Что?

— Всякого народу теперь... того... хоть пруд пруди...

— Это правда, отец, правда, — охотно согласился с ним, уплетая хлеб, — правда ваша...

— Да уж... распустился народ. Никакой тебе власти, одни напасти. Мучат людей, да и все... — и он, жалуясь, коротко рассказал про свои обозные лишения.

Мы закурили такого, знаете, хорошего, тертого табачку. Хотя были мы в укромном овражке, но долгая стоянка пахла опасностью.

Я воровато оглянулся, а мужик, используя момент, дернул вожжами.

— Н-но!

И как раз в тот миг у меня блеснула мысль, злощастная мысль, повлекшая за собой все эти события. Я его удержал.

— Отец, знаете, что? Вы, ведь, туда же, куда и я. Давайте вместе. Устал я, а еще надо добрую сотню отмахать... А как доберемся, я уж вам не забуду...

Он, протестуя, решительно мотнул головой и погнал лошадей. А я решительно прыгнул в телегу. Он остановился, но я не дал ему сказать.

— Отец, вы присыпьте меня сверху травой. Подвезите только к фронту, а там я и сам не полезу. Здесь пока нечего бояться, здесь войска мало, а там я и сам не полезу. Вот так присыпьте, прикройте и погоняйте себе, а как доберемся... Вы же не знаете, кто я...

— Да кто бы ни был, не желаю...

— Погоди, отец, — чего я только не говорил ему. Уговаривал, умолял, запугивал. Мужик упорно стоял на своем. Но победа была уже в том, что он тронулся с места. Минут через десять мы все-таки договорились. Мужик ругался, но запрягал меня на дно, прикрыл, словно ценный товар на ярмарку. Я лежал головой к передку, чтобы удобнее было переброситься словом. Условились так, что он будет зорко следить и тихонько сообщать мне. Если явится серьезная опасность, я заблаговременно должен скрыться во ржи.

Несколько раз он поднимал тревогу, но я ему не верил. Я знал, что он очень хочет от меня избавиться. Ясно: он пока что побаивался, но достаточно будет нам подъехать к тракту, как мой возница запоет другое — просто прогонит незваного гостя или, спасая себя, предупредительно отдаст его в руки врагов. Перспектива, что и говорить... Да только: логично — он и сам избегал тракта, интуитивно — я не верил. Интуиция, думаете, нонсенс? Ого, интуиция — это вековой опыт предков. Она возрастает в поколениях и передается, как наследство. И бывают, мой милый, случаи, когда сила предчувствия так обостряется, что невольно поверишь в интуицию. Мимо нас проходили, проезжали, спрашивали, но каждый раз я знал, что ничего исключительного, угрожающего не случится. Особенно же соблазняла меня мысль, что я отдохну и выиграю целый день. Целый день! Ведь, это, по меньшей мере, верст сорок-тридцать.

Но чем дальше — сердце начало сжиматься. Такая, знаете, тягучая, особенная, я бы сказал, безболезненная боль. Недостает воздуха. Нет сил лежать. Не терпится. Нужно встать. Нужно оставить этого возницу.

Обязательно. Вот еще немножко — и встану. Еще немножко — и колеблюсь. Едем-едем — как вдруг возница толк меня кнутовищем. Что? Военные! Много! Вынырнули, как из-под земли. Скорее бежать! Скорее!

Голос поспешный, срывающийся. Но почему-то еще колеблюсь, хотя в груди сразу неприятный холодок.

— Ну, слезай! Слышишь? Слезай, не то...

Уже не дослушал. Перышком метнулся с воза, и в тот же миг затарахтело, завизжало, заскрипело где-то позади... Я увидел внизу село и кинулся к нему изо всех сил. А дальше вы уже сами знаете, как и почему я очутился в кукурузе, почему заснул и спал так крепко.

Случилось все это перед полднем, а проснулся я под вечер. Меня разбудил дождь. Не дождь — просто ливень. Хотя он и быстро пронесся, но успел промочить до костей. Превозмогая боль, я выкрутил, как мог, свое барахло и, согнувшись, перешагнул на более сухое место. Теперь я держался смелее, ибо какому, хотя бы самому отчаянному, легионеру или жандарму захотелось бы лезть в росу, да еще в высокую, густую кукурузу, да еще после неудачной разведки?

Сквозь верхушки я оглядел местность: направо, на склоне, прилепились хатки, налево, ближе нахмурился крутой обрыв, с которого я совершал сегодня свой полет, а совсем близко, шагах в двадцати — двор. Я машинально присел. Я никак не ожидал, что, ползя, пряча следы, могу очутиться под самой хатой. Мне казалось, что я на другом конце огорода. Ну, что ж, так или иначе, а приходилось сидеть тихонько, ожидая ночи — она, мол, как-нибудь поможет, выручит.

В усадьбе начали хлопать дверьми, потом сзывали кур. Помню, детский голосок несколько раз поспешно смешно выкрикивал:

— А-ги на вас!.. А-ги!..

Помню — солнце. Предвечерние лучи прорвались сквозь тучи и брызнули золотом. Никогда не видал такой красоты. А может быть, и видел, но проходил равнодушно. Тогда же воспринялось особенно остро и до сих пор до мелочей стоит перед глазами. Знаете, после дождя все обмытое, свежее, а по нему течет солнце, течет и трепетными алмазами обвисает, капает... Помню даже тонкий стебелек, торчавший прямо передо мной... Какого-то смешного изумрудного жучка. Жучка прибило дождем, он отчаянно боролся, карабкался вверх. Я с радостью помог ему. И тогда меня особенно поразила мысль: неужели поймают? Тогда эта мысль показалась особенно страшной, невероятной. Еще сильнее захотелось жить, захотелось непременно завершить побег. Жить! Конечно, среди спокойных однообразных будней не почувствуешь так тонко, не поймешь так глубоко это необыкновенное счастье — жить.

Да... Но восторженный порыв мой скоро упал. И виной тому — проклятый озноб. Он охватывал меня все чаще и чаще. Руки посинели. Весь я скорчился. А вечер надвигался прохладой... Встать бы, ударить наотмашь руками — так сразу кровь и заиграла бы. Но, ведь, я связан. Буквально связан. Даже нельзя потерять рук. Только дыши на них. Глупое положение!

И так, свернувшись клубком, щелкая зубами, проклиная встречу с подолянином, сидел я, обеспокоенный, что ночь, несмотря на все усилия, может

пропасть напрасно. Как вдруг — шорох. Что такое? Шуршит и шуршит. Ближе и ближе. Остановится на минутку и опять, не торопясь, шелестит, опять приближается. Что делать? Не успел я собраться с мыслями, как густая заросль, словно занавес, раздвинулась, и передо мной предстала... женщина. Охапка травы выскользнула из ее рук. Она всплеснула ладонями. Она побледнела. Она что-то коротко прошептала — и застыла.

Мы долго молчали, оцепенев, устремив друг на друга испуганные глаза.

— Не бойтесь... — начал я шопотом, — не бойтесь... Я ничего... молчите... только нагнитесь, а то вас заметят. Нагнитесь...

Нагнулась, как в гипнозе.

— Я вас очень прошу, молчите. Никому не говорите обо мне. Никому! Слышите? А я вам зла не причиню. Я посижу до ночи и тихонько уйду. Слышите? Тихонько уйду себе и никто ничего не будет знать.

Она не двигалась. Только недоуменно, равномерно, словно искусственно заведенная машинка, мигали ее длинные ресницы.

— А если вы скажете, меня убьют. Слышите? Меня убьют.

Женщина облегченно вздохнула.

— Иезус-Мария... Так это вы тот самый?..

— Тот самый.

Оглядела меня внимательнее. Испуг понемногу таял на ее лице. Вместо него — удивление, любопытство и нерешительная теплота жалости. Она покачала головой.

— А тут, — говорит, — за вами гонялись, гонялись... И по соседям и тут.

— Знаю, знаю... Хотят убить ни за что, ни про что, — подчеркнул я, чтобы сильнее подействовать на нее и вызвать в ней сочувствие.

Тогда взглянула пристально, решительно. В этих карих больших глазах в одно мгновение я прочитал и тревогу, и подозрение, и любопытство, и сомнение, и жалость — чисто звериный страх и чисто женскую сердечность, ласковость. Откровенная борьба.

— Кто вы? — спрашивает наконец.

— Беглец.

— Но кто?

— А кого искали солдаты?

— Но не москаль?¹

— А разве вам не все равно?

— Да вы не москаль, — говорит, — вы и говорите по-руснацкому².

— Человек я... Не вор, не душегуб. Клянусь! А вот меня преследуют, хотят меня убить ни за что...

Опять покачала головой и так тихо, мягко:

— Бедный, — говорит.

В ее голосе мне почудилось что-то материнское, исконное, невыразимо нежное. „Бедный“ — этого было достаточно.

Она поднялась, поспешно начала собирать рассыпанный бурьян.

Собирает и оправдывается:

— Пастух сегодня из-за дождя раньше пригнал корову. А я и думаю: пойду, думаю, нарву бурьяну. И на тебе... Ну, сидите, не бойтесь...

¹ Великоросс

² По-украински

И нырнула в заросли. Я заволновался. Смущало это „Иезус-Мария“... Кто же она? Положим, все униаты пользуются таким, как бы сказать, междометием, но и все поляки в галицийских селах знают украинский язык. Не разберешь. А разобрать необходимо. От этого, конечно, многое зависело. А что, если она, в самом деле, полька и сейчас же поторопится выдать меня? Нет, надо бежать. Нужно пока что перебраться хоть на другой конец огорода. Скорее отсюда! Скорее!

Только я собрался, снова — шорох. Так и есть. Значит, я не ошибся. Значит, за мной. Поздно. Конец.

Раздвигаются стебли — знаете кто? — та самая женщина с бурьяном в охапке. Я изумленно впился глазами. Чего ей еще нужно? А женщина:

— Я, — говорит, — припрятала, чтобы никто не подумал... — и таинственно вынимает из-под бурьяна кружку молока.

Просто какую-то добрую фею посылала мне судьба. Конечно, я не заставил упрашивать себя. Но у меня уже начиналась мания преследования. Я сейчас же подумал: а что, если она в эту минуту продает меня за кварту молока? Что, если она тем временем послала в гмину¹ и только заговаривает, задерживает меня? Что?.. Ничего. Ничего не поделаешь. Сиди и жди. Сидел и ждал.

Она казалась довольно спокойной. Никакой двусмысленности. Никакого намека на провокацию. Даже что-то солидарное, заговорщицкое. Неужели так ловко притворяется? Неужели так тонко играет? Неужели продаст?.. Нет, не может быть. Нет...

¹ Волость.

Только теперь присмотрелся к ней. Русая. [Будто средних лет. Почти правильные черты. Видно было, что ее преждевременно старит изнуренность работой. Но удивительно сохранились ресницы, длинные - длинные, а в глазах еще много свежего, юного. И в то же время общую мягкость выражения нарушала какая-то странная, излишняя, изменчивая строгость.

Неужели предаст?.. Но все равно бороться нет сил. Да и смешно бороться:

Кружка дрожала в моих руках, зубы стучали о края, я начинал уже глотать через силу. Сегодняшние пертурбации давали себя знать. Я не мог допить молока, хотя и жадно накинулся было на него. Я чувствовал, что у меня очень беспомощный, жалкий вид.

— Вас били? — спрашивает.

— Нет.

— А отчего же синяки?

— Это я сам... удирая...

— Бедный.

Я поблагодарил, передал ей кружку.

— И не выпили даже? Вам очень холодно? Что же вы теперь? Вам, верно, и ступить теперь трудно?

Услышав это из чужих уст, я еще более встревожился, окончательно поверив в свое бессилие. Но, думаю, поддаваться не следует, — вдруг она выпытывает?

— Нет, — говорю, — не холодно.

— Не холодно? Чего же вы так позеленели?

— Это так... вокруг зелено, вот и я зеленый, — попробовал отшутиться.

— Не обманывайте меня, я, ведь, вижу... И не бойтесь. Вам нельзя никуда идти. Вам необходимо передохнуть. Хотя бы день - два. Не бойтесь... Вы здесь

посидите до ночи, а я тогда приду и как-нибудь вас перепрячу. Хорошо?

— Ладно.

Я нарочно согласился без лишних разговоров, чтобы скорее остаться самому и лучше обдумать положение. Женщина исчезла. Как видите, мне везло. Неожиданно буду иметь и прибежище и отдых.

Раз никто за мной до сих пор не явился, значит, я немного пересоллил с предательством. А может быть, те задержались? А может быть, она нарочно, с тайной мыслью предлагает мне этот отдых, чтоб задержать меня: неудобно, ведь, было ей засиживаться долго? Кто знает... Подозрительность — болезнь, но такая, что часто себя оправдывает. В конце концов, до ночи все должно выясниться. Так или иначе, а если уж на то пошло, мне не удрать. Поведет ли меня женщина в хату или нет — все равно. Окружат усадьбу — крышка. Если ж ничего не случится, тогда... тогда, поистине, добрая фея.

На всякий случай я решил передвинуться в другой конец огорода. Передвинулся и убедился, что эта ночь для меня, действительно, пропала. Все тело было тяжелое, ноющее. Голова кружилась. Апатия. Даже сидеть трудно — так и клонит лечь. Прилег. Глаза слипаются. Задремал немножко. Проснусь, послушаю и опять, как пьяный, мешком на землю.

Уже совсем стемнело. Показался было молодой серпик и пропал. Ночь, словно дегтем налита, крепкая, густая. Для бегства — лучшей не надо. Но нельзя, товарищ, никак нельзя.

Тогда я помаленьку перебрался к усадьбе. Не пришли до сих пор — значит, искренно хочет мне

помочь. Оставалось одно: отдать себя в руки этого неизвестного, случайного союзника. Я уклонился в сторону, потерял условленное место. Не беда. Авось разыщет. А лишняя возня еще чего доброго растревжит да наведет на след собак.

Мне недолго пришлось ждать. И где она выучилась так легко, бесшумно подкрадываться? Как вор, как тень... Я подал знак. Оказывается, она уже приходила и, не найдя меня, беспокоилась — пропаду, мол, где-нибудь в дороге.

Мы пошли в хату. Окна плотно завешаны платками и дерюгами. На столе — лампочка. Хата середняцкая, хотя вторая половина, которая по местному обычаю должна быть горницей, не достроена. В хате — никого, кроме нас да парнишки, спавшего на полатах.

Хозяйка вынула из печи теплую воду, велела мне помыться. Через силу проделал я эту „историю“, лишь бы не усложнять отношений. Потом вынесла из кладовой заплатаанные штаны, рубаху, рыжий пиджачок. Она озабоченно возилась около меня, словно мать около сына, и я должен был безропотно во всем ей подчиняться. Ужинать я отказался: совсем не тянуло к еде. Тогда — вот послушайте, как сумасшедше везло мне — тогда она раскрыла свои планы: я должен превратиться в Яська Мидуху, ее дальнего родственника из Старых Залещиков, о котором соседи слышали, но которого никто никогда не видел. Это на всякий случай. А пока что: здесь, сейчас же за речкой, под тем самым знаменитым обрывом, живет ее вуйко¹. Живут вдвоем с бабой. Они знают обо мне. Видели, как я

¹ Дядя.

бежал, и не верят, что остался жив. Они бедняки, живут обособленно, а потому у них безопаснее, к ним не так часто заглядывают разные непрошенные гости. С ними все улажено, и старики рады будут помочь человеку, попавшему в такую сложную переделку. Там есть небольшой сарайчик с провалившейся местами крышей. Одной стороной он примыкает к стене обрыва и тонет в кустах, а другая сторона, еще не покрытая, выходит на село. Но это даже лучше: кто ж подумает, что за необшитыми стропилами прячется человек? А дедко набросает поперек чердака всякого хлама и загородит уголок от лишнего любопытного глаза. Итак, нужно туда идти. Сейчас же, немедленно.

Я не протестовал. Я не ожидал такого участия и дивился на мою спасительницу, на ее находчивость, смелость, преданность. Какое великое сердце!

Мы тихонько перешли мостик (женщина поддерживала меня), бесшумно скользнули на задворки. Я слышал, как учащенно билось ее сердце. А еще через несколько минут я лежал в полном мраке, укрытый какой-то дерюгой, и под сонные вздохи овец благоговял причудливость жизни. Согласитесь, что жизнь прекраснее всего в своих капризах, и если бы не было неожиданностей и неприятностей, она стала бы скучной, как давно прочитанная рукопись. Будьте добры...

Конечно, хорошо было бы после всего этого отдохнуть, поесть, переждать до следующей ночи и, поклонившись в пояс добрым людям, взяв котомку про запас, тихонько поплестись дальше. Очень хорошо... Только это было бы слишком просто, слишком дешево. Жизнь не всегда это любит, ей за все нужно платить. К сожалению, я ошибся в расчете, считая пережитые

сегодня перипетии за исчерпывающий аванс. Я забыл о неизбежных и суровых процентах. И первая неприятность — моя болезнь. Хотя, правда, я был подготовлен, но все-таки... Все-таки с того самого вечера я будто провалился в мрачную бездну. Я потерял сознание. Горячка, туман, всякая чертовщина... Иногда, в короткие минуты просветлений я улавливал взглядом темную, колеблющуюся фигуру, склоненную надо мной. Но в следующую минуту чердак с этим отгороженным глухим закоулком казался уже могилой, из которой никогда не выбраться. Холодный пот еще обильнее покрывал тело. Опять я падал, опять бездна. Метался, стонал...

И вот как-то сообразил я, что начался третий день. Мне об этом сказали, и я впервые понял. Странно стало. Было такое впечатление, будто только вчера лег и всю ночь бредил кошмарами. Лихорадка в течение дня еще несколько раз атаковала, однако, к вечеру, когда обычно всякая болезнь усиливается, — к вечеру, говорю, ничего не изменилось. Это была внезапная острая простуда, процесс которой усложнила общая усталость, истощение, боль, нервные вибрации. Я сам себе поставил диагноз и пришел к заключению, что дело мое не так уж плохо. Раз полегчало — значит, кризис миновал, значит, выкарабкаюсь. Мучил только кашель, проклятый кашель! Ведь, сидеть-то надо тихонько, а он, как на зло... А что, если сейчас на дворе сосед или кто чужой? А?.. Сдерживаю себя, напрягаю все силы, — кровь в голову ударяет, слезы на глазах. Не могу. Так и прорвет! И каждую минуту чудится, что кто-то придет и... сам пропаду и хозяевам беда.

Когда пригнали овец, стало легче. Пользуясь их возней, я уже мог держаться свободнее, мог позволить себе откашляться вволю.

Припоминаю, сквозь дырку, зиявшую между снопами кровли, был виден клочок неба. Было видно, как из голубого он превращается в оловянный, постепенно застывает, темнеет. Помню, я долго не мог оторвать глаз от него — такой маленький, такой далекий, он будто сосредоточил в одной точке все пространство, звал, манил. Вам случалось попадать в неволю? Знаете, что такое минуты болезненной тоски и борьбы с самим собою? Ведь, здесь было нечто общее. Меня до боли тянуло в родные края, к своим, воображение уносило в единственную дорогую даль, и, вместе с тем, казалось таким нелепым, смешным лежать третьи сутки в глухом углу, на шатком чердаке, лежать без уверенности, где сон, а где действительность. Да, но не забывайте, что подобные минуты таят в себе необычайную ценность — нечто интригующее, заманчивое, бодрящее. Сознание опасности заставляет быть решительным, даль, чем ближе, тем притягивает сильнее, безвыходность побуждает к находчивости. Тогда, по крайней мере, я глубоко почувствовал, что пусть проболую целый месяц, пусть меня найдут, пусть пытаются, пусть что угодно, а бежать я все-таки буду. Все-таки буду!

Когда в моем примитивном оконце застыла ночь, тихонько пришла на чердак она, — вы уже догадываетесь кто. Я сразу узнал ее, но из соображений удвоенной осторожности лежал неподвижно, молча, как мертвый. Она тоже молчала. Потом начала шарить руками. Нашупала мое лицо. Приникла ладонью ко лбу, пробуя

жар, и медленно сдвинула ее ниже. И тогда — ну, разве вам нужно говорить, что такое ласка для загнанного, как зверь, человека, что такое капля нежности для огрубевшего солдата, что такое, наконец, благодарность? Это не сентиментальности. Тогда мне очень хотелось поцеловать прикосновение этой заботливой руки. Может быть, я и поцеловал бы, но вдруг подкатился приступ колючего кашля, и я упал головой на подушку (мне и подушку дали). Она поспешно поднесла воду, встревоженно начала расспрашивать о болезни. Радовалась улучшению, и когда я сказал, что не знаю, как и отблагодарить ее за внимание и преданность, женщина скромно перебила:

— А вы поскорее выздоравливайте, вот и будет хорошо.

Мы разговаривали вполголоса. Оба неуверенные, оба напряженные, мы были в этом темном углу, словно заговорщики перед преступлением. Между нами невольно возникала теплая близость, как между настоящими товарищами.

Ее имя — Анна. Оно ей шло. По крайней мере, у меня с этим созвучьем ассоциировалось нечто волевое, сверхбудничное, с большим диапазоном возможностей, плохих ли, хороших ли. И, как увидите дальше, я не ошибался.

Лихорадочка изрядно изнурила меня. Вскоре мне уже не доставало сил для разговора. Я только слушал. Да и внимание все слабело. Женщина предупредила, что на ночь возле входной лазейки будет ставиться лестница.

Потом она расспрашивала, не холодно ли, не голодно ли, может, недостает чего? Потом, не вспомню

уж по какому поводу, рассказывала о себе. Мне трудно было слушать последовательно. Лишь из отдельных отрывков я связал самое главное. Шесть лет тому назад она вышла замуж. Год прожила с мужем, и случилась у них горькая разлука: император призвал его — Евгения, кажется, — в армию, призвал в далекие Альпы. Дважды Евгений залетал с поля битвы домой, потом писал, обещал вскоре совсем вернуться — и исчез, словно ветром унесло. Говорят, кто-то слышал о нем, говорят, кто-то из пленных даже видел и передавал, что его не пускают из концлагерей, что он собирается бежать. Только все это давненько было... От Евгения ж ни весточки — хоть бы словом отозвался.

— Бедный... Может, и ему там горько... Может, добрая душа где-то там и его приютит...

Голос у нее дрожал. Вероятно, плакала, пытаясь затаить слезы. Я хотел было обнадежить, успокоить, но она быстро поднялась и, не сказав больше ни слова, исчезла.

Утром, чувствуя себя лучше, я попробовал подняться. В теле была еще неприятная вялость. Ноги дрожали. Все больные места давали себя знать. Однако, я приблизился к прорванному снопу и — знаете, что? — там, на дворе, на фоне яркой от солнца стены, поставив одну ногу на завалинку, старательно ваксил сапог польский солдат. Я так оторопел, что даже не отодвинулся. Застыл на месте. Солдат делал свое дело, а я почему-то не мог оторвать глаз от этой обрамленной галунами красной шеи и косых бачков на висках. Лишь погодя, услышав конское фырканье, я опомнился, присел и судорожно переборол приступ

кашля. О, ненавистный кашель, как он тогда издевался! Я тихонько начал расковыривать сноп в другом месте, чтобы сделать узкую, незаметную дырку. Сделал. Приспособился. Припал к ней глазом. В этот момент солдат поворачивается и смотрит прямо на меня. Где-то тенькнула оборванная струна — сердце мое остановилось. Минута, как вечность. Солдат слегка потянулся, прищурился. А дальше? Дальше взмахнул щеткой и, блестя желтыми кожаными лезвиями, пошел в хату. Конечно, он не мог меня видеть, он случайно глянул на сарай, глянул на солнце, выплывавшее с той стороны. Ах, глупое сердце!

Он был унтер. Кавалерист. Приятный визитец, что и говорить. Хотя все сыны Orła Białego — страстные фертики, но в быстром походе франтить недосуг. Должно быть, мой неожиданный сосед собирается остаться здесь подольше. Вот так сюрприз!.. Силы мои еще слишком ненадежны, да и вообще теперь трудно скрыться даже ночью. Он же, верно, не один. И в самом деле, не один: когда я глянул в верхнее окошечко на село, там на улицах, дворах, огородах было полно серо-голубых юрких букашек. Вот так!.. Что же хозяева? Вероятно, волнуются, угождают. Да что они могут поделать? Они зависят от случая так же, как и я. Обстановка резко изменилась, и теперь, несмотря на прекрасное отношение, мне трудно чем-нибудь помочь.

Я наскоро обдумывал положение. Если бы меня, например, застигли в хате или на дворе, то можно было бы назваться Яськом Мидухой. Если бы не болезнь, то, конечно, вместо того, чтобы сидеть здесь бог знает сколько, лучше было бы, крадучись, спуститься

вниз и в своем универсальном одеянии затеряться среди людей. Утопия... Невозможно. Как ни верти, а остается только чердак. И если случится встреча, если уж она неизбежна, придется говорить всю правду, кроме правды о моих случайных союзниках: я, дескать, сам тайком залез сюда, и никто ничего не знает. Да. Но одежда, кружка с водой, дерюга, подушка? Ну, тут я больше не раздумывал. Я рьяно принялся за инсценировку. Рьяно — это условность, потому что, сохраняя осторожность, каждое движение, каждый шаг я делал тихонечко, медленно, подавляя все время пароксизмы кашля. А, ведь, нужно было, когда под ногами ходуном ходил настил, нужно было, говорю, и подушку, и дерюгу старательно замаскировать среди хлама, которым хозяин перегородил навес. Замаскировал. Кружку подsunул к самому краю настила с тем чтобы в критический момент одним толчком незаметно столкнуть ее со стены в бурьян. Одежда? Ах - ты!.. А как с одеждой?.. И тогда я вдруг подумал: ну, какому дураку придет в голову лезть на чердак, если я сам себя не выдам? Чего, спрашивается? Ну, правда же? Вы усмехаетесь? Я тогда тоже усмехнулся, обругал себя трусом, олухом, еще чем-то, но декорации не нарушил. Неясная, подсознательная уверенность ободрила меня. Я устроился на голом настиле и все силы сосредоточил на борьбе с кашлем.

В течение дня я несколько раз заглядывал в мое примитивное окошко. Войско двигалось непрерывно. Летали верховые. Иногда раздавалась нестройная однообразная песня, так же нестройно и загадочно обрывавшаяся. Ржали кони. Как-то резко звякали ведра — и все это покрывалось перекатным эхом балки.

Дважды хлопнули выстрелы, обычные в такой обстановке.

Приблизительно перед полднем на перекрестке двух улиц появилась батарея. Видно, целый полк совершал переход. Только зачем он полным составом вкатился в село? Так бывает, когда бегут или слишком спешат на фронт. Спешат! Прекрасно: во-первых, мы скоро с ним распрощаемся, во-вторых, наши дела на фронте разворачиваются. Чудесно! Лежа на чердаке, я в то же время буду приближаться к своим. Замечательно!

И с высоты своей засады я почти с гордостью, с каким-то мальчишеским задорным чувством начал созерцать расположившегося врага.

Мой хозяин... но, простите, я его впервые увидел и должен здесь уклониться для краткого описания. Это была живописная фигура. Высокий, худой, в длинной до самых колен грубой рубахе, подпоясанный кожаным пояском, в самодельных обутках. На слегка откинутой голове буйная седая грива, своим фоном еще резче оттенявшая коричневое лицо. Белые взъерошенные крылышки бровей, обвислые усы и в зубах длинная, словно навеки припаянная, фаяра¹. Прибавьте к этой фигуре медлительные, величественные движения и сучковатую, зазубренную палку, прибавьте глубокий, проникновенный взгляд, и на вас невольно повеет Татрами, суровой красой задумчивых сосен, легендой о гномах-краснолюдках, о королеве из ледяного замка, о королях-пастухах. Этому живописному деду пришлось... но нет, не буду забегать вперед. Об этом дальше.

¹ Гуцульская трубка с длинным чубуком.

Итак, мой хозяин, не торопясь, разгуливал по двору, а солдат почтительно обращался к нему:

— Ojczye.

Они разговаривали по-польски, и я вспомнил, что до сих пор не знаю, кто же мои спасители: поляки или украинцы. Хотя особого, решающего значения это уже не могло иметь, но все-таки для ориентации... Нет, думаю, сегодня или завтра обязательно разупаю.

Остаток дня прошел без всяких осложнений. Я заспул спокойно. Ночью меня разбудило прикосновение руки. Настойчивое прикосновение чьей-то руки к моему лицу. Вскликаваю, нервно вскрикиваю.

— Тш-шш... нельзя.

Едва сереет верхнее оконце. Рассвет или серая ночь. Возле меня — женщина.

— А вы испугались?... Ничего, ничего... Все будет файно¹.

И смеется, что я трус, что понапрасну запрятал постель и валяюсь, словно конченный человек. А войско, мол, уже выступило. Говорят, опять будет идти войско. Тревога. Здесь оставаться нельзя: одни могут скоро перейти, а другие могут стоять несколько дней. Что же тогда? Без воды, без присмотра? Да и правда, как бы чего не случилось. Дядькина усадьба от постоя, как видно, тоже не обеспечена. Лучше оставить ее да перебраться в более надежное место. И вот она хочет, чтобы я перешел в ее хату. Пусть даже для соседей не будет тайной, что Ясько неожиданно явился и заболел, бедняга.

¹ Файно — хорошо.

Там я спокойно буду лежать на печи. Кому ж придет в голову трогать больного? Там безопаснее. Там я скорее выздоровею. Вот она уходит к себе, а погода, пока темно на дворе, я тоже должен придти.

Анна говорила решительно, не допуская возражений. Да и возражать не было смысла.

Спустя некоторое время, я слез на землю. Поплелся. Идти было тяжело. Лежа, я не предполагал, что слабость так крепко присосалась ко мне. Теперь это стало ясно, и мысль о дальнейшем бегстве пока что являлась только пожеланием.

Прихожу. Устроился на печи. Да, еще забыл: новоселье отпраздновалось папиросой. Солдаты забыли целую пачку папирос, и я жадно проглотил первую за четыре дня ароматную затяжку. Первую и последнюю, потому что из груди вырвался такой кашель, что хозяйка непринужденно выхватила из моих рук и окурок и соблазнительную пачку, а гостью широким жестом указала на его новые апартаменты.

Утром сквозь сон слышались мне обрывки диалогов:

— Мамка... Кто?

В ответ короткий шопот. Потом — скрипучее пичикато дверей и —

— Славайсу¹.

— На веки... Да, да заболел, бедняга...

Еще кто-то забежал:

— Niech będzie pochwalony...

И шептались. Отчетливее всего из уст в уста перебегало слово „кузин“. Я привыкал к новой роли.

¹ Приветствие — слава Иисусу.

С этого утра я начал лечиться. Мне дали горшечек топленого молока с доброй порцией масла. Анна велела выпить все до капли, и, хотя питье было слишком приторное, но я добросовестно исполнил приказание.

И тогда же, помню, ее спешно позвали к дядьке.

Через порог вкатился звонкий голосок (сын моей хозяйки) и позвал. Пошла.

А вернулась почему-то хмурой. Почти не разговаривала. Гибкая, с завидно моложавой осанкой, она молча сновала из хаты во двор, со двора в хату, позвякивала посудой, изредка нетерпеливо покрикивала на ребенка. Я же в своем углу с каждой минутой начинал испытывать все большие мучения: сегодня, как нарочно, пекли хлеб, и печь накалилась. Выпитое молоко тоже вызывало пот. Вскоре я почувствовал себя словно в настоящей бане. И когда, не вытерпев, я пожаловался хозяйке, она коротко кинула:

— Вот и прекрасно.

Метод лечения, правду сказать, немного жестокий. Однако, настойчивость лекаря и скупость его на слова заставляли и пациента молчаливо терпеть. Что ж делать... Анна все-таки была права, если не предлагала мне слезть вниз. Внизу я сразу же бросался бы в глаза, а здесь в любой момент можно было скрыть себя занавеской, висевшей на веревке, перетянутой от печи к стене. Хоть и знал кое-кто о появлении Яська Мидухи, да все же лучше, если Ясько не будет напоминать о себе. Это имело некоторое психологическое значение.

После обеда, встав из-за стола, Анна поклонилась иконам. Рука торопливо перебежала по груди, кладя

крест. Я не успел подметить, каким именно образом она крестилась, но из того, что она обращалась к ребенку преимущественно по-польски, я понял, что она полька. Потом она забрала мальчика и ушла, закрыв двери из сеней на щеколду. Я остался полновластным хозяином. Ну, теперь, думаю, довольно мучить себя в невероятной духоте. Попробовал слезть на лежанку, освежиться. Трудно. Тогда разделся. Опять развалился на печи, как на пляже. Духота вялит мысли. Лежу пластом. Дремлю.

Вдруг слышится мне под дверьми какая-то подозрительная возня. Кто-то нерешительно постукивает щеколдой, кто-то чужой осторожно пробирается в хату. Вор? Кто ж бы другой решился, если хата заперта? Хозяева, мол, отлучились — на огороде иль у соседей — а тем временем... Ясно — вор. И, забыв о слабости, забыв о своем костюме прародителя, я срываюсь, готовый вот-вот схватить в объятия непрошенного гостя. Уж какие были бы эти объятия — не важно. Важно внезапно оглушить. Да... Дверь скрипит.

— Иезус - Мария! — испуганно отмахивается, отшатывается к косяку — знаете кто? — наш добрый знакомый, наш картинный дед. Пауза — и мы оба засмеялись. Торопливо одеваясь, я объясняю, почему именно так преобразился и принял такую позу, он же уверяет, что я ему показался сатаной.

— А где Анна? — спрашивает.

— Не знаю.

— Уж не у нас ли? Так, так...

Оказалось, что он сейчас не из дому, а по дороге домой. Топчется дед, обводит глазами все углы

и неожиданно останавливает взгляд на мне. Многозначительно, вопрошающе. Я жду, что он что-то скажет, но он из-под своих нависших кустиков молчаливо пронизывает, сверлит, словно острым жалом. Даже неловко.

— Что вы? — спрашиваю его, наконец, сам стараюсь быть спокойным.

— Ничего... — говорит, — ничего...

Покачал головой и ушел.

Что это могло означать? Отчасти я догадывался, отчасти терялся, удивленный этим загадочным поведением. Одно, в чем не могло быть сомнений — это признак какого-то осложнения. Кто знает... А впрочем — ну его к лешему. Скорее бы выздороветь, да уйти подальше. Я, как видите, хотел отмахнуться. Но не тут-то было. Вновь возникла подозрительность и взгляд деда запал глубоко. Интриговал. Волновал.

Когда явилась Анна, она еще из сеней брызнула смехом. Она успела узнать о моем приключении и, смеясь, несколько раз переспрашивала о подробностях. Этот случай как бы развеял скрытую, непонятную натянутость, возникшую между нами с утра. Мы разговорились. И все ж таки по выражению лица, по движениям, по интонациям я заметил, что Анна принесла с собой что-то недоброе. Постепенно подготовив почву, я спросил, что слышно.

— Война близко... Ой, война близко.

В селе, по ее словам, как в котле кипит. Люди очень встревожены. Ходит слух, что враг надвигается непрерывно, никакими силами его не удержать. Говорят, что скоро будет здесь. Москали! Те самые, что уже однажды приходили. Да если б только они. А то

с ними еще более страшные, невероятные, чудовищные, до сих пор невиданные. Большевики!..

— Święta Mario!

Что я переживал в те минуты — лишнее говорить. Испуг и предупрежденность женщины, от которой я слишком зависел, заставили пока что глубоко затаить в себе искренность и одеть личину. Я сочувствовал ей. Я осторожно пробовал успокоить.

— Не бойтесь,—говорю,—все это глупости, паника...

Tempora mutantur — мы начали меняться ролями. Плохо только, что роль моя была немного фальшива. А у женщин сердце чуткое.

Она печально глянула кругом.

— Если бы пронесло... И до каких пор это будет? День за днем, год за годом. А где жизнь? Я вас спрашиваю, где жизнь? И когда она придет, жизнь-то самая? Когда?

Глаза вспыхнули вызовом. Ясно: это было утомление за шесть лет тревог, это была реакция, это была жажда примитивного, но здорового счастья. Она по-своему мыслила жизнь, она, вероятно, боялась, что годы пропадут понапрасну и, вероятно, каждый день провожала с болью. Бедная Анна! Но как было ее успокоить? Она будто и слушала меня, будто и не слушала. Она таила еще какие-то мысли. Она задумчиво шагала по хате. Бралась за уборку, и все валилось у нее из рук. Не могла она успокоиться. И вот, бросив работу, Анна подходит к печи, облокачивается на карниз, тихо спрашивает:

— А скажите, кто вы?

Вот оно! Вот здесь мне многое открылось. В одно мгновение промелькнули в сознании: и польская шинель,

и „руснацька мова“, и рассказ о Евгении. Да, да!.. И утренняя молчаливость, и взгляд деда — все понятно.

— Кто я? Разве вы не знаете? Ясь Мидуха.

Она усмехнулась, однако, не меняя позы, не спуская глаз, настойчиво повторила вопрос. Что я мог ответить? Сказать правду — вызвать слишком серьезную опасность. Врать? Что же именно врать? Назваться уголовным нельзя, — ведь, я уже поклялся, что не душегуб. Да [это было бы наихудшее. Назваться поляком — смешно. Галичанином — неправдоподобно. Ладно, думаю, а за кого же ты меня до сих пор принимала? Ведь к какой-нибудь градации причисляла же? Надо разузнать.

— А как вам кажется, — обращаюсь к ней, — кто я?

— Не знаю... Сначала... как бы наш, русин. Потом... потом и вуйко говорил, что вы петлюрчик. К нам сюда забегали петлюрчики... тоже наши...

Ах, прекрасная женская наивность, будь ты благословенна во веки! Карты раскрыты, можно переходить в наступление.

— А теперь?

— Что теперь?

— Сначала, потом, а теперь? Что теперь вуйко говорит?

— Теперь он не знает... и я не знаю.

— А я знаю.

— Что?

— Знаю, вы подозреваете. Вы подозреваете, что я большевик. Да, да!..

Анна предупреждающе быстро подняла руку, но я уже не дал ей сказать. Я забросал ее словами. Я подбирал разнообразнейшие аргументы, подтасовывал,

ссылался на свое самолюбие, на ее рассудительность. Кое-что остро осмеял, кое в чем признал смысл, за кое-что очень обиделся. И, наконец, сознался, что я действительно петлюровец. И как она могла сомневаться? Я — дезертир. У меня дома жена, ребенок. Я уже три года воюю. Я не могу больше. Я бегу.

Моя хозяйка сочувственно вздохнула.

— Бедный...

Потом вполголоса, словно самой себе:

— Вот есть же такие, что бегут...

Задумалась. По-моему, разговор ее удовлетворил. Вечером приходили соседи, и она опять говорила о кузене Ясе. На ночь, как и утром, — порция молока с маслом. Улеглись. Темно. Тихо. И вдруг шопот:

— Так вы говорите, не страшно?

— Конечно, нет. Чего же страшно? Господи!

Но через несколько минут спрашивает громко:

— А почему вы догадались?

— О чем?

— О большевике?

— Вот те на! Что-ж тут?.. Так ясно, понятно...

На этом замолчали. Только я уже не мог заснуть. Не спала и Анна. Хотя было темно, но я знал, что она лежит с открытыми глазами, упорно раздумывает, сомневается. Между нами без слов, без взглядов интуитивно вырастала глухая недоговоренность, пожалуй, даже холодность. И это подтвердилось на утро. Лекарство утром было мне подано, как и вчера, да разве дело в словах? Достаточно маленького движения, маленького намека. Я убедился, что между нами возникла грань. Еще далекая, не совсем отчетливая, но все же грань. Будь готов!

Так прошло два дня. На третий, на рассвете прогремел гром. Сначала я думал, что снится. Нет, не сон. В хате тишина, а там, где-то в темноте, далекие перебаты. Гу-р-р-р!.. — и через несколько минут коротко, мягко: гух! Понимаете? Я сам себе не верил. Я все думал — сплю. И с болезненным напряжением ловил я эти звуки. Неужели началось? Неужели?.. Я пытался хоть приблизительно угадать расстояние, а в груди замирало, в груди трепетно замирало при каждом ударе. Да, в дыхании смерти иногда бывают и вздохи счастья. Не походил ли я тогда на религиозного фанатика? Ведь, я всем существом призывал к себе молнии земного бога, молился, чтобы его смертельные аккорды скорее разразились над моей головой. Аккорды вскоре затихли. Но после молитвы меня охватила такая глубокая радость, так стало хорошо, что я... я заснул голубым сном праведника.

В этот день было воскресенье, и Анна с малышом собралась в костел. Помню, когда двери за ней закрылись, я почувствовал облегчение. Меня уже стесняло ее присутствие.

Теперь нужно было хорошенько обдумать положение, становившееся серьезным. Там — далекие, еще неопределенные раскаты, здесь — определенное подозрение, скрытая враждебность. Соблазненный, подкупленный сердечностью, я до сих пор не очень заботился о том, чтобы, так сказать, политически зарекомендовать себя перед хозяевами. Да и для чего? Не все ли им равно, кто я? Они, ведь, хотели только помочь человеку. Если бы не шумное продвижение войск, если бы не паника, все, конечно, имело бы удачный исход. Но добродетель — явление условное.

Добродетель боится глубоких потрясений. А после этих ночных вестников можно ожидать и большего. Что же теперь? Бежать? Нет, бежать не следует: во-первых, силы еще сомнительны, а потом — бежать, когда каждую минуту надвигается фронт, когда нужна максимальная осторожность, когда, наконец, есть щелка, где можно притаиться и переждать, чтобы девятый вал перекатился через голову, — бежать, говорю, было бы невероятной глупостью. Оставаться? Хм! Хорошо, если напряженность пойдет на убыль. Только дед, видно, настойчивый проныра. Вряд ли он оставит дело, не доведя его до конца. Сочувствие, должно быть, терзает теперь его совесть, разжигает упорство. Он уже посеял злое семя. Он теперь начинает докапываться глубже и глубже, он неотступно будет агитировать Анну...

Но, черт возьми, о чем, собственно, может быть речь? Точных данных у них все-таки нет. Если же слепой патриотизм или слепой страх слишком переполнит их существа, то и тогда у меня прекрасный аргумент: я — Ясько Мидуха. Об этом и соседи знают. Не побегут же они, в самом деле, родственника выдавать.

Довольно. Решено. Из хаты ни шагу. В конце-концов, даже обидно: столько намучиться, столько пережить, дойти чуть ли не до порога заветной цели и — стоп. Из-за каприза отсталого человека играть своей жизнью? Отнестись легкомысленно к самому острому моменту? Не суметь ступить последнего шага, чтобы перейти мостик? Обидно, бессмысленно. Из хаты я не уйду, пусть землетрясение, пусть даже потоп. Все равно.

И вот возвращается Анна. Я молчу. Она тоже молча ходит из угла в угол. Не найдет себе места.

Вздыхает. Ломает пальцы. Что-то есть... Ой, что-то есть... Я делаю вид, что просыпаюсь, и немного удивленно, вопрошающе смотрю на нее. Останавливается, тоже вопросительно взглядывает на меня. Начинаем самый невинный разговор. Она подходит ближе, нервно теребит платок. Сегодня она гладенько скромно причесана и в праздничном платье. Сегодня изменчиво хмурится, хочет быть строгой. Это ей к лицу. Да, но какие глупости, какие невероятные глупости плетет она сегодня — это уж вовсе не к лицу. Вот послушайте: она слыхала о большевиках. Она вся под впечатлением проповеди, которую произнес сегодня в костеле ксендз-пробощ¹. Теперь она знает, что большевики — бусурмане, что они преследуют всех христиан, особенно поляков, и жгут костелы. Она теперь знает, кто они, откуда, какие.

— Какие же? — спрашиваю с любопытством.

— Большие-большие... Страшные... одноглазые... С одной рукой, с одной ногой... Niech Pan Bóg broni!
Я искренно засмеялся. Анна сдвинула брови, насторожилась.

— Смеюсь, — говорю — потому, что таких никогда не видал. Воюю ж и я, а таких, ей-богу, никогда не видывал.

— Значит, ксендз-пробощ говорит неправду?

— Нет, он просто не знает.

— Знает, он знает. Там, ведь, не все такие. Там даже больше человеческого люду. А такие там за командиров.

Я, конечно, смолчал, что мне очень хотелось увидеть самого уважаемого ксендза-пробоща. Интересно

¹ Пробощ — благочинный.

же, как должен выглядеть этакой человек. Во всяком случае, нечто дегенеративное, желчное, кипящее злостью. Не так ли?... и хитренькое, едкое, как и подобает настоящему иезуиту.

Стало жаль мне Анну, а к наставнику духовному возникло такое отвращение, что кажется, если бы случилось встретиться... Да вы, надеюсь, меня понимаете.

— Что делать? Куда прятаться? Говорят, будто ночью уже стреляли... — ходит моя хозяйка, ломает руки.

— Да никуда не нужно прятаться, — уговариваю ее, — ничего не нужно делать...

— А ну вас!.. Это вы лишь такой зух¹. А они-то детей едят, они из людей живьем кровь пьют...

Ну, тут я не выдержал, расхохотался на всю хату.

— Так вы не верите? — подскакивает ко мне.

— Конечно, не верю.

— Так ксендз-пробош врет?

— Конечно, врет.

— Ах!..

Ах, что я наделал, что я в сердцах наделал! И знал, ведь, понимал, ведь, прекрасно всю сложность обстоятельств, следил, ведь, за собой — и на тебе. Для нее ксендз-пробош — *ultima ratio*². Как можно! Как можно!

Это была не Анна. Это было уже нечто чужое, грозное, с глазами полными искр.

— Пани, простите... — прошептал я взволнованно.

Она замерла. Только губы истерически дрожат, готовые плюнуть каким-то страшным, неслыханным

¹ Зух — храбрец.

² Высший разум.

до сих пор словом. Пауза. И словно хищник, подкрадывается она к печи, бьет рукой в стену, бросает мне:

— Лайдак!¹

— Пани Анна...

— Лайдак!

Что мне оставалось? Только молчать. Так лучше. Пусть, думаю, перекипит.

Молчу. Обмениваемся долгим пристальным взглядом. Женщина постепенно теряет энергию, как-то сжимается и медленно, отягченно, словно в бреду, подвигается к кровати. Упала на подушку и... плачет. Да, да, плачет. Ну, что тут поделаешь? Причина, знаю, не только в этом злосчастном разговоре. Тут, знаю, бурно разрядилось все, что в последние дни переполюняло ее существо.

В самом деле, подумайте: в доме враг. Да и какой еще враг! А впрочем — кто знает? Быть может, и не враг? А что если враг? Ведь, этак близко к отчаянию. Ведь... Словом — беда.

Погодя подходит она ко мне и серьезно, твердо:

— Я знаю, вы шпион.

— Помилуй бог!

— Да, да! Вы большевистский шпион. И вот что: вечером убирайтесь, куда хотите, чтоб и духа вашего не было.

— Постойте... — но никаких оправданий, никаких доводов она слушать не хочет.

Тогда пробую апеллировать к ее совести — больной, мол, я, нет еще сил у меня на дорогу.

¹ Негодай.

— Да пусть лучше гром разразит вас, если вы способны людей губить. Так вам и надо. Убирайтесь!

Я в ответ набожно крещусь. Впечатления не производит. Я клянусь матерью, своим ребенком. Впечатления тоже не производит. Тогда решаюсь пустить в ход последнее оружие: если мне совсем не верят, если мне уж суждено пропадать, то лучше я останусь в хате. Будь, что будет.

— Что вы? Да вас сегодня же в тюрьму поведут.

— Кто?

— Жандармы.

— Кого?

— Вас.

— То-есть, Яська Мидуху?

Она вскипела. Из багровой стала, как полотно. Но сдержалась.

Игра, мой друг, была довольно опасна, зато решительна. По крайней мере, скорее определится линия поведения. Anne, пожалуй, не годилось обострять положение. Она являлась инициатором всей истории с укрывательством и должна была чувствовать на себе всю ответственность (также одна из причин недавних слез). Боясь деда, она теперь вряд ли рискнула бы рассказывать ему о таких осложнениях. Ей оставалось, по-моему, одно: скрывать и старательно продолжать игру. Перед соседями — игру в кузена, перед дедом — что все, мол, хорошо, и никаким подозрениям нет места. Допустить иное — это допустить, что они, сговорившись, убьют меня. Ну, конечно, глупости. Нужно лишь сосредоточить все внимание и находчивость к последней минуте фронтовых бурь. Тогда, действительно, многого можно

ожидать. Если же обстоятельства изменят и красным не удастся докатиться, — выжду, сколько надо, и в одну прекрасную ночь тихонько убегу.

Я попросил закурить. Представьте, она спокойно, будто ничего не случилось, подходит ко мне с папирсой в протянутой руке. Подходит, добродушно улыбается:

— Захотелось покурить?..

— Да, — говорю.

— Очень?

— Очень.

И перед самым моим носом рвет в клочья папирску.

Так, думаю, это, в конце-концов, не плохой признак, это как бы подтверждает мои догадки о твоём, голубушка, скверном псложении. Безвыходность раздражает. Не терпится отомстить. Ладно. Терпение, тысячу раз — терпение.

К вечеру новая история. Является юркий человек, здоровается и говорит Анне, что родственника, который к ней пришел, нужно зарегистрировать в гмине. Войт¹ приказал обязательно это сделать, чтобы не случилась, сохрани бог, какая-нибудь неприятность.

— Да он больной, бедняга... Он и встать не в силах. Где уж там ему в гмину идти? Такая беда мне, такая беда...

Человечек сочувствовал. Однако, нашел простой выход — предложил передать документы непосредственно ему, обещая поскорее уладить дело.

¹ Староста.

Анна согласилась, даже поблагодарила за хлопоты.

— Только, — говорит, — Ясько сейчас спит, целую ночь промучился, вот сейчас только... А я без него не знаю. Позвольте уж завтра принести. Я сама вам принесу.

Они еще долго говорили о войне. Чувствовалась растерянность, хотя человек старался уверить, что ничего страшного нет, и врагу, мол, дан уже решительный отпор. На прощание он снова напомнил, что завтра, а самое позднее послезавтра необходимо зарегистрироваться.

— Хорошо, хорошо.

Человек вышел. Тогда Анна опрометью ко мне:

— Слышал?

— Слышал.

— Ну что ж теперь?

— Ничего.

— Как же ничего?

— Да так, ничего. Разве я могу показать свои документы? Я, ведь, дезертир.

— Что же теперь будет?

— Ничего не будет.

— Ой, боже мой, боже...

Она просила. Трогательно, нежно просила оставить хату. Наивный человек! Она думала, что если запахло властью и документами, я все-таки осмелюсь слепо рисковать. Я пообещал, что завтра уйду. Анна умоляюще, с мукой взглянула на меня, словно ей тяжело было расставаться, и сказала:

— Нет, сегодня.

— Сегодня нельзя.

— Прошу, очень прошу — сегодня.

Я категорически отказался. Все же я выигрывал один день. Завтра так или иначе можно оттянуть регистрацию до вечера, а для меня сутки имели большое значение.

— А может, вы бы пошли? Тихонько, помаленьку пошли бы себе? Я вам харчей на дорогу соберу.

— Нет.

— Ой, не шутите со мной!— сверкнула глазами.

Я усмехнулся, но потом, когда уже стемнело, решил проверить свои силы. Спустился на пол, попросил шинель. Шинель я теперь хотел иметь при себе на всякий случай. Анна подозрительно, удивленно следила. Молчала. Когда же я взялся за щеколду, подбежала и спрашивает:

— Куда?

Она стояла наготове, чтобы захлопнуть за мной дверь, но я не дал ей этого сделать. У самого порога я спокойно повернулся и спокойно направился к печи. Женщина одним скачком очутилась впереди. Вся— движение. Вся— момент. Брови изломаны. Губы дрожат. И с тяжелым вздохом, сквозь зубы так злобно:

— Уххх!..

Ух, как она меня ненавидела!

Ночью будят. Открываю глаза, всматриваюсь — на краю печи сидит Анна. В чем дело? Взволнованная, странная, что-то бормочет. Никак не пойму. Наконец, выясняется, что ей приснился кошмарный сон. Не помню уж, что именно, но, рассказывая, она дрожала, как листик. В чем дело? А вот в чем: она чувствует, что этот сон не даром, она чует сердцем, что должно случиться какое-то большое несчастье. Я пробовал успокоить. Взял за руку. Ласково, тихо говорил с ней.

Тогда склонилась ближе и совсем по-ребячьи попросила:

— Уходите из хаты... не мучьте меня...

Я завтра уйду.

— Идите сейчас, умоляю вас.

— Завтра.

— А что же я завтра скажу войту? Господи! Они же и меня и вас в тюрьму...

Но я был уверен, что каким-нибудь способом можно выманить у войта завтрашний день. Этот завтрашний последний день в хате казался мне таким дорогим, заманчивым, словно последний день жизни. Я был упрям. Может быть, даже несколько жесток, но, согласитесь, мне никак не следовало раскисать. Не каприз, не глупый эгоизм, а логичная последовательность: двадцать четыре часа при орудийной подготовке пахнут весьма интересными возможностями. Я просил Анну согласиться на эту, так сказать, жертву и начал комбинировать разные способы для завтрашних оправданий. Ну, хотя бы запереть меня на замок, а самой пересидеть где-нибудь у соседей. Ну, хотя бы...

— Уходите... уходите...

Она, протестуя, качала головой, твердила только одно неизменное: уходите. И как-то сразу, неожиданно умолкла. Я тоже умолк. Несколько минут острого напряжения. Потом круто оборачивается, стонет в отчаянии:

— У-хо-дите!

— Пани Анна...

— Сейчас же уходите!

— Пани Анна...

— Не уйдете? Нет?— и не успел я опомниться, как гибкое крепкое тело упало на меня, а железные коготки впились в лицо, в шею. Безумная женщина! Я еле оторвал эти скрюченные, цепкие когти. Оторвал, изо всей силы встряхнул ее. Она чуть не скользнула на пол. Обмякла, прислонилась к печи, зарыдала...

Нет, думаю, капризничай, сколько хочешь, а я на своем поставлю. Оправляю постель, устраиваюсь поудобней, выжидаю. Да... На этом, собственно, и кончилось. Вскоре она спустилась на пол. Не сказала ни слова. Легла.

Опять грохотали орудия, и я задремал уже под утро.

Вдруг — топот, шум, лязг. Просыпаюсь. Утро. Занавеска спущена.

— Matko, mléka! — дзеньк-дзеньк шпорами.

Новый визитец! Что же теперь? Что ж Анна? Ведь, так просто — отдернуть занавеску и сказать: берите, это шпион. И она... она, действительно, подходит. Да, подходит, отодвигает и спокойно, строго говорит по-польски:

— Видите... у меня в хате больной, тяжело больной. А вы подымаете шум. Как можно!..

Я был поражен. В один миг я провалился в удушливую бездну и сразу же выплыл на поверхность, где дышать стало легко-легко... Как можно, как можно так отчаянно рисковать!

Инсценировка подействовала. Правда, один из гостей засмеялся и начал было что-то вроде: мы тоже не лучше больных, но два другие его поспешно перебили, требуя еды. Анна внесла им молока. Конец

занавески так и остался закинутым на шнурок — откровенность и явная озабоченность должны были еще сильнее убедить. Возможность подозрений была парализована, да парням, видно, и не до того. Они жадно глотали из кружек, часто посматривая в окна — там, на дворе слышался конский топот. Не скажу, чтобы мне было очень страшно (враг страшен, когда он далеко), а все-таки... все-таки, почему бы кому-нибудь из них не подойти к печи, не поинтересоваться? Если бы Анна молчала, никто бы и внимания не обращал, но Анне, очевидно, нужно было меня, меня помучить. Сама, ведь, рисковала, слишком рисковала, и в то же время... Ах, безумная женщина!..

Она спрашивала гостей о войне. Солдаты отвечали нехотя. Собственно, отвечал один, тот, что и себя считал больным. Отвечал шутками, с бравурным, деланным смешком:

— Uciekaj, matko! Bolszewik nie caluje!..

Другие два хмуро отмалчивались. Сидели недолго. Их неожиданно позвали со двора, и, кинув еду, они ушли. Тогда Анна наскоро отправила ребенка к деду, заперла двери и приблизилась ко мне с победно-уверенной, едкой усмешкой.

— А что, испугался?

Я тоже ответил улыбкой, добавив, что на худой конец не миновать бы беды и хозяйке. Но она не хотела меня слушать. Она задорно смеялась, смотрела презрительно, вызываяще.

— Что,— говорит,— хочется к женушке? На подушечку? А? Бедный мой мальчишек... А знаешь,— говорит,— я ничего не боюсь. Это ты все ерунду мелешь. Ей богу, не боюсь. Вот сейчас,— говорит,—

пойду и выдам тебя солдатам. Мне ничего не будет, еще поблагодарят.

А у самой столько напряжения, столько задора, столько слепой злобы и отчаянья, что, честное слово, она казалась на все способной.

— А-ну, слезай с печи! Слезай, не то буду кричать. Слезай!

Она, в самом деле, взвизгнула. Я должен был слезть.

— Падай на колени,— говорит, и сама сбила меня с ног (так, дескать, падай).— Ну, проси, проси!..

Тут я не вытерпел. Срываюсь, бросаюсь к ней. А она руками голову закрыла, присела и этак тихонько, жалобно:

— Не бей,— говорит,— я, ведь, пошутила...

Как вам нравится? Она пошутила! И шутя, сгибаясь, извиваясь, она выползла из хаты. Теперь, конечно, можно было всего ожидать, но не мог же я не пустить ее. Через минуту, крадучись, я тоже выбрался на двор и нырнул в спасительную кукурузу. На селе хлопнуло несколько выстрелов. Потом затихло. Нигде никаких признаков тревоги. Выстрелы, очевидно, были случайны.

Так просидел я до ночи. Ночью перелез, кажется, в пятую или шестую усадьбу, тоже в огород. Выбрал наилучшее место. Там, под плетнем, в зарослях дерезы, устроил берлогу, замаскировался ветвями, решил переждать еще сутки. Пусть теперь милая хозяйюшка выдает меня кому только вздумается,—все равно в этом гнезде не найдут. Впрочем, хозяйюшка, должно быть, уверена, что до сих пор и след мой простыл. Прекрасно. Пусть "утешается..."

Сиделось неплохо. Хотя вскоре стал донимать голод, но это, сравнительно, полбеда. Главное — ни кашля больше, ни страха за свою слабость. Лишь глухая боль в поврежденных местах, и то, когда неловко повернешься.

Перед рассветом (недаром я так упорно не хотел уходить из хаты, не хотел уходить из села), перед рассветом где-то вдалеке затрещал пулемет. Скорее бы, скорее! Раз пулемет — значит, совсем близко, значит, не стоит рисковать.

Я был прав, так как к полдню разразилась внезапная трескотня. Одни сыпали из оврага, другие с противоположной стороны, а я был посредине и заклинал густых шмелей лететь повыше. Правда, в наихудшем случае у меня была в перспективе ароматная Валгала, где будут угощать мясом Зеримнира и где прекрасные валькирии будут подавать мед, выдоенный из сосцов Гейдруни... Но все же, признаюсь, земные, простые радости привлекали меня сильнее.

Продолжалась эта перестрелка минут двадцать-тридцать. По-моему, враг имел для сопротивления прекрасную позицию, но его, повидимому, обошли с фланга и заставили вскоре эту позицию сдать. А потом, помню, кто-то дважды выкрикнул диким голосом: „Тарасов! Тарасов!“ — и послал в догонку универсальное словцо. Село перешло в наши руки. Finis! Это было во время нашего последнего наступления, когда — помните? — красные неудержимо летели на Львов, а поляки неудержимо летели на Карпаты. Именно потому и случилась столь быстрая трансформация.

Вы, вероятно, догадываетесь, что приключение мое заканчивается. Да, друзья, приключение, действительно,

заканчивается. Разрешите еще только несколько коротеньких последних слов.

Из соображений осторожности я просидел в своем гнезде до следующего утра и, совсем изголодавшийся, но уверенный и гордый победой, пошел к... ну, конечно, к Анне. Нужно же было поблагодарить и попрощаться. Открываю двери — в дверях дед. Чуть не столкнулись.

— А-а-а... Здравствуйте! — говорю.

Он не ответил. Пристально поглядел на меня, загадочно усмехнулся.

— Куда же вы теперь? спрашивает и пронизывает, пронизывает.

— Пока что к вам, — говорю, — поблагодарить забежал.

А он:

— Ты, паренек, не иначе, как счастье чужое украл. Но не играй с ним, ой, не играй... — многозначительно погрозил пальцем и выплыл из хаты.

Тогда — Анна. Встретила она меня очень радостно, трепетно, словно мы старые, добрые друзья.

— Вы большёвик, ей-богу, большёвик.

— Да нет, разве ж я с одной рукой, с одной ногой?

Она смеялась. Она ни за что не хотела отпускать меня в дорогу. Во-первых, ожидала дождя, во-вторых, считала лучшим обождать, когда новая власть обоснуется в селе, ссылалась на разные прифронтовые опасности, на необходимость подготовиться к дороге и отдохнуть, еще на какую-то опасность, еще на какую-то необходимость, — словом, успеется еще испробовать беды. Кое в чем она была права, но

главного не сказала: ей хотелось теперь удержать возле себя чужого человека хоть на день, хоть на часок. Тревогой и растерянностью кричали ее глаза.

Я не давал окончательного ответа. Нарочно не давал, так как для меня, беглеца, очутившегося уже по ту сторону, лишние сутки не играли никакой роли. И в то же время, разве вас или кого другого не интересовало бы теперь поведение этой женщины? Меня, по крайней мере, интересовало.

Анна хлопотливо взялась за стряпню. Между делом рассказывала, что они все, кроме деда, прятались в погребе и страшно волновались. Когда же я спросил, видала ли она большевиков,—

— Нет, другие видели.

— Одноглазые? — спрашиваю.

Она виновато опустила голову. Потом берет за руку малыша, шутя подводит его ко мне:

— Смотри, Стась, это большевик. Ага!

Стась, из которого я давно должен был живьем высосать кровь, стоял между нами и недоуменно поглядывал. И что-то, вероятно, по-своему сообразив, он очень серьезно промолвил:

— Как оно тукнет, я так напугался...

Славный, шустрый мальчуган. Освоившись, он рассказывал препотешные истории, и мы с ним долго играли. В течение целого дня в хате не смолкала беседа. Что? Да, да, целого дня—я отложил путешествие до завтрашнего утра. Да, еще забыл: я ведь ходил в гмину (не регистрироваться, нет), ходил разузнавать, где штаб полка или бригады. Никого там из своих не застал. Узнал лишь, что несколько

часов тому назад прилетали наши верховые и дали приказ спокойно продолжать работу, что фронт продвинулся верст на восемь-десять, что какой-то штаб стоит в соседнем местечке, в тылу, тоже верст за десять-двенадцать.

Как видите, вчерашние враги постепенно становились друзьями. Да это и понятно: вместе пережитое часто сближает, а неприятности особенно. Историю с дикой „шуткой“ оба замалчивали, будто ничего не произошло. Ей было стыдно, а я не хотел начинать первый. И чтобы избежать неловкости, говорили, не переставая, говорили обо всем, что только могло нас интересовать в те минуты — больше всего, конечно, о войне и большевиках. Анна внимательно прислушивалась к моим словам, Анна соглашалась, но все же я несколько раз подметил в ее мыслях затаенный протест. Несколько раз как бы намеком проскользнуло нечто вроде: не удался наш мак, проживем пока и так. В конце концов, от нее другого и требовать не приходилось. Это, ведь, первые дни — дайте освоиться.

На ночь постлала мне внизу и, когда улеглись:

— А может, вы,— говорит,— еще немного обождали бы с дорогой?

На мой вопрос, из каких именно соображений, она объяснила тем же, что и утром, а когда я решительно отказался, она бросила задорно, с усмешкой:

— Бойтесь, что не успеете? Бойтесь, что вашим скоро удирать отсюда?

— Нет,— отвечаю,— удирать мы не умеем. Разве... что по доброй воле...

— Неужели?

Этакий звереныш! Ночью она молилась. Я чувствовал себя беспокойно, нервничал, спал одним глазом. И я слышал, как горячо шептали ее уста:

— Błogosławion owoc żywota twego, Jezus...

Утром, наскоро подав завтрак, Анна еще раз предложила переждать пару дней. Я решительно отказался. Тогда взяла ведра и, попросив подождать ее, исчезла. Проходит пять минут, десять, пятнадцать — нет. Встаю, хожу, выглядываю, сажусь, снова встаю — нет. Я начал терять терпение. Уйти, бросив так хату, неудобно. Но и ждать бог знает сколько тоже невозможно. Дал я себе сроку еще минут десять, думаю: не придешь — не надо. А на сердце как-то тоскливо, скверно. Наконец, отрезаю ломоть хлеба, кладу в карман, берусь за щеколду — навстречу Анна.

— А я вам с полными ведрами, — говорит смеясь и просит простить, что запоздала: — Подождите же, я харчей на дорогу соберу и провожу вас немного. Вы, ведь, дороги не знаете.

Дороги я, действительно, не знал (хоть это особенного значения не имело), но отказаться от последних услуг моей хозяйки, от ее любезности, — вы бы, наверное, тоже не отказались.

Она суетливо бегала из хаты в кладовую, из кладовой в хату, озабоченно возилась над узелком, словно снаряжала в далекий путь. Но вот набросила на себя большой платок, запрятав узелок в его складках. Двинулись.

Было чудесное утро. Ни облачка, ни намек на дождь. Я заметил Анне, что из нее плохая ворожка. Она улыбнулась, и на этом замолчали. Она казалась спокойной, даже строгой. Смотрела в землю, всецело

углубившись в свои мысли. И только от времени до времени изменчиво хмурился ее лоб.

Вышли за околицу. Думал, здесь скажет: прощай. Нет, она вела напрямик к тракту. Она беспокоилась, чтобы я не уклонился в сторону, и пошла со мной дальше. Опять молчание. Напряженное, тягостное молчание. Почему-то никто из нас не решался нарушить его.

Оглядываюсь — забрели довольно далеко. Остановился, а она:

— Видите вон тот овражек? Туда доведу и... будет.

Пришлось согласиться. Очевидно, это было ей приятно. И еще с полчаса мы упорно молчали. Наконец, и длинный коленчатый овражек. Один бок (обрывистый) зарос густыми кустами, а другой, косой, голый — в степь. Садимся на краю. Объясняет мне дорогу. Теперь уже совсем близко.

— Ну, будьте счастливы, — говорю.

— Не уходите.

— Как же так?..

— Не уходите, слышите? Оставайтесь жить у нас. У меня...

Я удивленно поднял голову и вдруг — не знаю, как это случилось — уста в уста, крепко, горячо. Один поцелуй, но такого никогда не будет.

— Не уходите.

Я пожал ей руку, пошел. Через несколько шагов обернулся — стоит неподвижно.

— Мы еще увидимся — крикнул я, стараясь придать голосу веселый оттенок, хотя, признаться, меня охватывала легкая грусть. „Все понять — все простить“, и мне было жаль этого немного взбалмошного человека.

Да, друзья мои... Начинаю спускаться с оврага. Тропинка крутая, путанная. Хватаюсь руками за кусты. И все время так и тянет остановиться, словно невидимой силой удерживает прикосновение ветвей. Да... Открывается передо мной более широкий, не замаскированный поворот. Я сдерживаю шаг, хочу оглянуться в последний раз и в этот момент: ба-бах! над ухом. Ба-бах! — вторично. Что за чорт? Я инстинктивно припал к земле. Пятиться назад? — безумие. Здесь? — расстреляют. Скорее за пригорок! Скорее вниз! И ломая кусты, я ослепью кинулся вниз.

Стреляли из револьвера. Кто стрелял, я и до сих пор наверное не знаю. Вряд ли Анна. По крайней мере, тогда мне показалось, что стрелок правее. Впрочем, стрелок плохой — цель-то у него была, как на ладони.

— Вот и... — Рубич, остановившись на минутку, жадно допил свою кружку.

Мы, Красовский и я, мы тоже подняли свои кружки, но взгляды наши невольно были прикованы к чуть побледневшему лицу Рубича, и некоторое время мы сидели молча, почему-то не решаясь отпить.

Одесса—Харьков, 1926 г.



Я давно растерял их — горячных, отважных, молодых...

Пошли в ночь, а дошли-ль до рассвета — не знаю...

Теперь я часто вспоминаю их, вспоминаю глухой уездный городок, и передо мною, как живой, вырастает Зяма.

И когда на дворе осенняя слякоть, а над домами промерзло треплются флаги, я почему-то так ясно вижу этот далекий городок, вижу, как по задворкам бродит с клюкой в руках старая Рухеле и тоненьким голоском монотонно тянет:

— Ты ж, моя Зя-а-мочка... Ты ж, моя лю-убочка...

Так она затащила на следующий день после ареста Зямы, и с той поры никто от нее ничего другого не слышал.

* * *

Зяму я знал с детства. Тогда еще, помню, его на улице дразнили „сосуном“, и нам, сорванцам, немало попадало от его матери. Я был с ним очень близок, так как мы вместе учились у жестяника, и, помню, хоть пьяный мастер часто подчевал его ремнем, Зяма никогда не протестовал и не плакал,— только

низко-низко опускал свою голову в паршах. Вскоре он бросил мастера, повертелся еще с полгода „мальчиком“ в местной парикмахерской и, в конце концов, стал учеником известного местного музыканта Герша Крома.

Знал я его и позже, уже взрослым, когда Зяма в местном оркестре был первой скрипкой, и старая Рухеле всем соседям протрубила уши о своем талантливом сыне.

У нас в кружке его любили, как хорошего товарища, уважали, как лучшего между нами знатока революционных теорий, и одного только не могли ему простить: трусливости. У всех почему-то сложилось мнение, что он трус.

Об этом открыто не говорили, однако, серьезных поручений ему не давали.

И вдруг на одном заседании Зяма запротестовал: он настойчиво требовал, чтобы дело с литературой было поручено именно ему.

Кто-то из товарищей пошутил:

— Зямка, голубчик, как же ты пойдешь? Да ты, ведь, собак боишься...

Помню, Зяма сразу покраснел, рванулся, словно в драку, а затем, неловко втянув шею и опустив глаза, тихо сказал:

— Ничего... ничего...

Это произвело впечатление: — он всегда был сдержанно-спокоен, и никто от него такой выходки не ожидал.

Пробовали подойти иначе, но Зяма был непреклонен. Он привел такие убедительные доказательства, так логично обосновал необходимость своего участия, что, наконец, большинство согласилось с ним.

Зяма счастливо усмехнулся:

— Ничего... ничего...

А через несколько дней мы, как воробьи из-под стрехи, разлетелись во все стороны.

Мы тогда были еще слишком молоды и слишком неожиданно все это случилось. Да и кому бы пришло в голову, что Зяма, тихенький худощавый музыкант, Зяма - трус, попав с агитками в руки городовому, мог выхватить у этого городского ноган и стрелять в него?

Зяму арестовали.

Позже, глубокой осенью, я тайком проходил уездный городок.

Был серый день. Городок, раскисая под дождем, совсем притаился, съежился, будто ждал в тревоге, что вот - вот по главным улицам лавой потечет грязь.

И тогда на задворках я видел мать Зямы. Она болтала клюкой в луже и тихонько тянула:

— Ты ж, моя Зя-а-мочка... Ты ж, моя лю-убочка...

Я подошел, спросил, но на мой голос она и головы не подняла.

Так навсегда и осталось: серый день, дождевая пыль за ветром и старая Рухеле над лужей с клюкой в руках...

* * *

Пролетели года...

На севере утихало, а на Украине как раз разгоралось.

Бурею надвигался запоздавший Октябрь, факелом размахивал, разбрасывал зарева...

Вихрем дни.

И как раз тогда случайно встретились мы с Зямой.

Я не узнал его. Мешковатая, сутулая фигура, лицо густо заросшее, а в глазах вместо прежней спокойной сосредоточенности беспокойные огоньки горячности.

— Ну, что? — не нашелся я от радости.

Он заморгал глазами и так же, как когда-то, тихо ответил:

— Ничего...

Несколько минут мы стояли, как вкопанные.

Словно ни тюрьмы, ни ссылки не было, словно это было в далеком уездном городке несколько лет тому назад, и лишь кто-то из товарищей подшутил над худощавым трусишкой-музыкантом.

— Зямка? — не утерпел я, широко взмахнувши руками.

— Ты... жулик... — нежно-взволнованно потянулся он ко мне — все, что мог он тогда сказать.

Вспомнили прошлое. О матери он еще ничего не знал. Я не хотел огорчать его, сказал уклончиво:

— Видел как-то... Живет помаленьку... Все надеется...

У Зямы чуть заметно задрожала нижняя губа и, неловко поглаживая пуговицы на своей шинели, он перевел взгляд куда-то вдаль. Потом внезапно встретился, повернулся ко мне и решительно сказал:

— Слушай! Будем всегда вместе.

Я пожал ему руку.

* * *

Вихрем мчались дни... Дни ли, ночи ли — все вверх дном, не разберешь...

Нас, пьяных от радости, от угара восстаний, закружило в водовороте, понесло быстрым потоком. Где-то трещали коряги в берегах, размывало, разметывало берега, разрушало преграды, плотины, запруды — с дороги под ноги!..

— Симфонию, ух, какую симфонию писать!.. — усмехался восторженно Зяма.

И однажды бросило нас цепью вдоль полотна железной дороги.

Шел бой.

Зяма лежал вдали и не видел, что я, легко раненый в ногу, поковылял с товарищем к ближайшей будке.

Мне едва успели промыть рану, как зачастило-защелкало над крышей, и в разбитое окошко было видно, что наши отходят.

— Скорей! — хватая винтовку, заорал я на товарища и старую сторожиху, обматывавших мне ногу каким-то тряпьем.

И в это мгновение вдруг распахнулась дверь, и на пороге вырос бледный Зяма.

— Ты? — бешено крикнул он и, прицеливаясь прямо в меня, скомандовал:

— Брось оружие!

Я растерялся... Бухнул выстрел. Посыпалась штукатурка, и я невольно поднял руки вверх.

— Ты! — рассвирепел он, переступая через упавшую в обморок сторожиху, но, поглядев на мою ногу, виновато заморгал глазами.

— Зямка, что ты?..

— Прости... Я думал... что ты спрятался, — и болезненно провел рукой по мокрому от пота лицу.

— Как же ты мог? Ведь, ты же меня знаешь?

— А чорт его знает... — смущенно сказал он, потупился и вполголоса добавил: — Теперь и отцу родному не поверишь...

* * *

Летели огненной метелью дни и ночи, дни и ночи, — спотыкались, опрокидывались, дыбились и снова летели...

Стонала земля...

Была ночь, которой не забыть...

Земля гудела, колебалась под ногами, а над нашими головами и над городом неустанно и яростно ухало.

Противник тогда не на шутку озлился. В наших руках еще оставалось предместье, а ему — пепел ли, развалины ли, на день или на час, — ему было все равно, лишь бы взять. И без конца надвигались новые и новые контр-отряды, обходили со всех сторон, сжимали смертельным кольцом.

Мы с Зямой лежали рядом во рву, машинально припадая к прикладам раскаленных винтовок, и тогда он попросил меня:

Если что-либо... матери не говори... Пусть надеется...

Зяма будто предчувствовал: едва мы начали отступать, винтовка выскользнула из его рук, и он пополз на четвереньках.

— Зямка, что с тобой?

— Грудь... — простонал Зяма.

Я подскочил, насильно бросил его на первую встречную тачанку, но на повороте лошади внезапно бряцнули копытами, и тачанка опрокинулась.

Мы столкнулись с левым флангом противника. Рота, отстреливаясь, отходила дальше. Надо было спешить, чтобы избежать западни.

И в это мгновение Зяма резким голосом окрикнул меня.

Я на минуту остановился, нагнулся. Передо мною затряслось искаженное ужасом лицо, и из уст его вырвалось хрипло:

— Убей меня!.. Чтоб не мучился...

Я отшатнулся.

Убей меня... Живым не хочу... Я — жид... Они жидов живыми не берут...

И когда я отбежал на несколько шагов, — снова вопль сзади. Оглянулся — за мной следом, как пес, полз Зяма и стонал:

— Убей меня... Убей меня...

Наша цепь была далеко. Многочисленный противник упорно наседал с правого фланга, и кучке повстанцев, бессменно сражавшихся вторые сутки, было уже не до раненых.

Мы вдвоем оставались под перекрестным огнем.

Мысли взвихрились, рассыпались — не соберешь.

Что делать?

А он обхватил мои колени, и в сердце остро впи-
вался уже бессознательный, дикий хрип агонии:

Убей меня... Убей меня...

Тогда я решительно нажал курок.

Так!

И огненная нить пришила его к земле.

Харьков, 1924.



„НЕЧИСТЫЙ“

Это было осенью.

Антон и я возвращались из командировки в свою часть, расположенную в глуши Подолии. От железной дороги до первого села доехали на подводе, а дальше пришлось идти пешком: все подводы с продналогом.

— Вы махните напрямик, — посоветовал нам шустрый дедок у околицы, — это недалечко... Вот так прямо через овраги, немного лесом, а там в долине и село будет... А оттуда уже рукой подать... Вот так...

Послушались. Махнули напрямиком. Прошли овраги, и только под вечер раздвинулись рыжие лохмотья леса, а за ними змеей изогнулся ров. Дальше плыли голые жнивья, и сразу трудно было разобрать, село ли дымит вечерней мутью или в долине стелется полосами туман.

Пошли рвом. Сбоку неотступно теснился лес, и чем сильнее сгущались сумерки, тем ближе надвигалась влажная стена деревьев, крепче пахло прелыми листьями.

Только шуршал бурьян, терся об обмотки, а так — тишина. Из лесу выплывала она темной задумчивостью, колыхалась над межами, в полях терялась...

— А-а-а! — внезапно из темной дали долетел к нам стон.

— Опять кого-то режут? — остановился Антон.

Сложил руки рупором и крикнул изо всех сил:

— А-тю-у-у!

Эхо пронеслось, залегло в чаще. И опять — тишина.

— Может быть, бандит какой?.. Ну, поймал бы я тебя!.. — выругался он и сердито перебросил винтовку на другое плечо.

Уже с час назад слышали мы этот странный стон, несколько раз то вблизи, то издали вспугивавший лесную тишь. Но не это раздражало Антона. Я понимал его: наше путешествие затянулось, и начальство будет упрекать. Да нам и самим давно уже хотелось отдохнуть.

Начались огороды — село.

— Остановимся на ночь в первой же хате. Ладно?

Было совсем темно, когда мы подошли к плетню. Откуда-то из-под хлебов сорвался юркий клубочек и неистово заверещал. Ему с другого конца усадьбы хрипло ответила овчарка, подхватили еще несколько, и по всему краю села рассыпался однообразно долгий лай.

— Какая там нелегкая толчется? — крикнул с порога хозяин.

— Мы, дядько...

— Тю! Да где же это видано — ночью, огородами?

Рассказали. Он подозрительно оглядел нас, покопался на винтовки, почесался.

— Нет, — сказал погодя, — идите себе, хлопцы, куда знаете, а я не тово... Теперь, извините, всякий сброд тут шляется... кто его знает... Идите в сельсовет.

— Да вот документы, смотрите.

— Да что документы? Не надо...

На собачий лай заскрипели двери соседней хаты, и к плетню осторожно приблизился длинный силуэт с палкой. К счастью, это был представитель сельской власти. Расспросив нас, он подошел к окну и долго расправлял на ладони наши удостоверения. Затем, не то приказывая, не то извиняясь, предложил хозяину пустить „гостей“ на ночь.

— Вот не было печали... Ну, что ж, идем, коли так...

Хозяйка тоже, видно, была не очень довольна нашим появлением. Слишком уж грохотала она ухватами в печи, слишком зло поглядывала на нас и исподтишка так едко ворчала на мужа, что тот, наконец, не вытерпел:

— Да не шипи, Одарка... Словно тигра.

За ужином разговорились. Одаркин брат тоже служил в армии, но уже больше года от него не было никаких известий. Плакивала, как погибшего. Мы сочувствовали. Постепенно отношение к нам начало меняться. Говорили долго. Говорили о самом больном — о революции и продналоге. Потом перешли на сельскую жизнь со всеми ее мелочами.

И вот тогда уже Одарка откровенно развязала язык. Досталось тут всем: и комитетчикам, и „бандистам“, и живым, и мертвым.

Она всех знала в селе, знала обо всем, и в каждом ее слове так просто, так ярко отражалось своеобразное мировоззрение глухих углов. Но за каждым словом все время таилась какая-то иная мысль, и потому события, о которых рассказывала, очень часто приобретали странное, необычайное освещение.

Наконец, увлекшись разговором и ссылаясь на „знак божий“, она таинственно сообщила, что в селе

сейчас беспокойно: вчера, мол, явился „нечистый“, который всех передушит.

— Вот дожились!.. Господи, и что это будет...

Мы с Антоном переглянулись, невольно рассмеялись.

Хозяин низко опустил голову. Чувствовал себя неловко. А хозяйка возмущенно замахала руками и быстро затараторила:

— Ишь, умные какие! Да вчера же вечером Митрофанову Килинку на леваде поймало!.. Неживая домой прибежала. Вся в крови, синяках... Теперь лежит, такое рассказывает, что не приведи господи!..

Я вопросительно взглянул на хозяина. Он пожал плечами и нехотя ответил:

— Да кто его знает... говорят...

Мы опять улыбнулись. Наше поведение, видно, не понравилось — разговор на этом прекратился. Молча свернув папироски, мы встали. Хозяин натянул свитку¹, взял палку и пригласил нас в овин.

Мы охотно согласились, так как в хате было слишком душно и, к тому же, туманил голову кислый запах пеленок. Но на дворе хозяин шопотом объяснил:

— К нам, бывает, всякий народ заходит. Сами знаете... как бы чего не случилось. На сене лучше, да и лошадей мне постережете...

Разместил нас, нащупал в задней стене маленькую дверцу, отодвинул задвижку на ней и предупредил:

— А вот это вам на всякий случай... прямо в лес...

Мы остались одни. Шаги прошуршали по двору, затихли.

¹ Род армяка.

В темноте мы обменялись мыслями. Из всего было видно, что на селе или, в самом деле, было неспокойно, или же нас, в самом деле, принимают за бандитов. Уже начали жалеть, что сразу не пошли в сельсовет. Антон послал тысячу чертей по адресу шустрого деда, направившего нас оврагами, напрямик. Я выругал Антона за то, что послушал деда и меня соблазнил блуждать. А в конце концов, приходилось со всем примириться и только удвоить осторожность.

Легли в разных углах — я возле дверцы с задвижкой, он подле надворных ворот. Винтовки положили под себя.

Вскоре Антон пустил носом скрипучую песню. Я закрыл глаза, но сон охватывал меня медленно.

Вокруг густо пахло разбухшей землей и сеном, напоминало луг, речку, далекое детство... Из минувшего медленно, одна за другою, вынырнули несколько отрывочных картинок, перепутались с действительностью, действительность потонула в фантастике и — не помню, какие страны я успел пролететь, но только уже шумело в неведомых берегах неведомое море, и с высокой горы катилась на меня громохающая глыба.

Еще миг — упала на грудь, придушила. Сердце остановилось.

Хотел крикнуть, но волна захлестнула рот.

Рванулся, взмахнул руками по воде — вода жесткая, колючая, точно сено.

Мелькнула мысль: лежу навзничь, кровь бьет в голову...

И только хотел повернуться, как кто-то еще сильнее навалился на грудь и схватил за горло.

Сквозь открытые в лес дверцы уже вползала свежесть рассвета.

На момент я оторопел. По всему телу, словно кто-то прикоснулся липкими пальцами, пробежал дрожью страх. На лбу холодок...

Шевельнуться я не мог, голос подать тоже не мог: фигура одной рукой судорожно нащупывала и сжимала мне горло, другой старалась сломать мое сопротивление и глухо сопела, обдавая мне лицо горячим дыханием...

Так — минута...

Наконец, мне удалось напрячь все силы, и я с размаху ударил ее под ребро.

Она болезненно застонала, пошатнулась, ослабив пальцы на горле.

Я крикнул.

Но в это время она снова всей тяжестью упала на меня, впилась зубами в мою щеку, и мы покатались тесным клубком...

Припоминаю уже только, как перед самыми моими глазами по голове неизвестного дикаря несколько раз проехался приклад винтовки Антона. Дикарь разнял железные тиски рук, и на губах у него забулькала кровавая пена...

Позвали хозяев.

Дикаря связали, выволокли на двор.

Антон побежал в село.

— Ой, матушки! — крестилась перепуганная Одарка, — это же нечистая сила!

Хозяин молча ходил вокруг странного чудовища, разводил руками. Потом вынес из сарая дерюгу и прикрыл его до половины.

Начали сбегаться люди — огородами, садами, через плетни — чуть ли не вся околица. Загудели, теснясь густой толпой, лезли на плечи, на головы — хоть бы одним глазом взглянуть. Осторожно наклонялись, разглядывая со всех сторон, осторожно ощупывали и недоуменно качали головами.

— Ишь, подумать только!.. Ведь, это ж оно слонялось по лесу... Ведь, оно бы все село... одного за другим, как цыпят...

Мнения разделились.

Одни упорно доказывали, что это настоящая „нечистая сила“: недаром же она лысая и ни бороды ни усов у нее.

Другие пытались убедить, что это обыкновенный лесной бандит.

Поднялся бурный галдеж.

— Приведите Килинку, она сразу узнает!

— Да Килинка лежит, больна...

— Ничего, привезть можно. Валяй, паренек, к Митрофану.

Но все споры неожиданно разрешил какой-то рыжий крестьянин.

Протиснувшись сквозь толпу и пристально поштрив на дикаря, он хлопнул себя поштанам и радостно воскликнул:

— Тю! Чтоб те пусто было! Да это ж арендатор, пан Яснопольский. Я же у него служил. Знаю... Вот оказия...

Толпа изумленно отшатнулась, притихла.

— Яснопольский? — подхватил кто-то тонким голосом, — из Воробьевки? Ведь и я его знаю! Тот, что ума решился, когда землю отбирали?

— Он самый и есть.

— Из сумасшедшего дома?

— Ну да... Значит, удрал — надоело...

Толпа снова шумно заколыхалась.

... Когда его брали на воз, он уже не сопротивлялся, молчал — только по-волчьи поводил мутно-стальными глазами.

Харьков, 1924



ТИХИЙ ХУТОР

— Павел! Тебе вот письмо из местечка передали..
В комнате темно. Ответа нет.

— Павел! Ты спишь? — окликнула громче.

Из угла сорвался сухой кашель, облетел всю комнату и удивленно прохрипел:

— Что такое?

— На, читай.

Антонина бросила письмо и, сердито шаркая сапогами, вышла. Что-то ворчала под нос, но Корниенко не расслышал.

Зажег лампу.

На стульях возле печки опять развешены пеленки.

Взглянул — и раздраженно стукнул стулом.

Сказать Антонине — снова ссора, слезы..

„А, ну его к чорту“, — буркнул сквозь зубы и, безглаголиво подняв мокрые тряпки, осторожно повесил их на то же место.

Письмо было измято, без штемпеля (шло по рукам), и только на конверте кто-то размахнулся карандашом:

Тихий хутор. Тов. Корниенко.

А в письме тоже карандашом:

Тов. Павел! Угадай, кто это пишет тебе. Только не смотри сразу на подпись. Я сейчас случайно в Лукашевке. Сказали мне, что ты здесь. Через шесть лет судилось встретиться. Приезжай сегодня. Жду.

Вспомни Октябрь, разбитый трамвай, борьбу и Зину.

Р. S. Если приехать не сможешь, то в воскресенье под вечер я сама буду у тебя.

Корниенко поднял голову и остановил взгляд на лампе — огонь приковывал.

А мысли разбежались во все стороны. Закружились, завихрились.

Хотел снова перечитать, но буквы почему-то рассыпались, словно перед усталыми глазами, и он только шопотом повторил:

— Вспомни Октябрь, разбитый трамвай... Зину...

Да, да! Ведь, только они двое тогда и остались! На мостовой валялись мертвые и раненные, пули свистели предательски, а Зина, растрепанная, раскрасневшаяся, сжимала винтовку и напряженно щелкала затвором.

Когда противник окружил площадь и надо было бежать, это, ведь, она, Зина, крепко сжала его руку, быстро поцеловала в щеку и, оттолкнув от себя, бросила вслед:

— Не сдавайся!

С того времени он ничего не слышал о ней и был уверен, что она из-за своей горячности была тогда же убита.

Вспомнилась небольшая фигурка в рыжем тулупчике, резкие черты лица, жучки-глаза, такие живые и умные...

— Вы, товарищ Павел, интеллигент и вы не можете меня понять, — неугомонная, упрямая Зина.

...Крик, нервные резкие движения, сизые клубы дыма, споры, товарищеские „мордобои“ — это Зина.

Порыв — Зина.

И бурное чувство, первая могучая песнь души — тоже Зина.

Корниенко вскочил, быстро зашагал по комнате.

„Пате-журнал“ — вспомнил он и засмеялся. Так ее прозвали товарищи: она всегда первая приносила новости, она все знала.

Двери скрипнули...

— Ужинать будешь?

Корниенко смотрел растерянно, не отвечал.

— Ужинать будешь, спрашиваю?

Кивнул головой и, подойдя ближе, взял Антонину за руки.

— Оставь, не балуй... Никак дитя разбудил.

— Антониночка, не то, подожди... Я вот письмо получил... Знаешь, ко мне завтра гости приедут... Хорошие гости. — Он весело хлопнул ладонями и потер руки.

— Ну?

— Так вот, Антониночка, приготовь все, как следует... Понимаешь?

Антонина молча слушала.

— Ненадолго приедут... может быть, переночуют.

— Кто же это? Родные, что ли?

— Не родные, а хорошие знакомые.

— Да кто же?

— Одна... девушка...

Антонина оттопырила нижнюю губу и искоса взглянула на Корниенко.

Он заметил. Ожидая расспросов, скрутил папироску и долго возился над лампой — прикуривал.

— Пойди хлев на ночь закрой, — бросила, наконец, и зашаркала по комнате.

* * *

На другой день, когда Корниенко встал, в комнате было уже убрано, и Антонина возилась на кухне.

Сильно хлопали двери — должно быть, Антонина сердита.

Она больше ни о чем не расспрашивала, ходила молча и только исподлобья бросала подозрительные взгляды на мужа.

А Корниенко старательно точил бритву и насвистывал любимую серенаду Брага.

— Да не свисти! Никак по чертям соскучился?

— Молчание, Антониночка, молчание, — прижал палец к губам и деланно рассмеялся.

Когда же дверь закрылась, с досадою покачал головой. Родившееся утром веселое настроение постепенно угасало. Чем более приближалось время приезда Зины, тем сильнее нервничал Корниенко. Особенно нервировала Антонина. Сегодня она казалась ему еще более неприятной, и росла к ней злость. Старался сдерживать себя. Знал, что если терпение лопнет и он заденет Антонину, будет ссора. А тогда пропадет весь день, пропадет и встреча гости. И кончится тем, что Антонина будет ругаться, а он притихнет и покорится, как это случалось уже не раз.

Воспоминания цеплялись одно за другое. Воспоминания вспархивали бабочками, кружились и, падая, образовали глубоко в душе неприятный осадок.

Сегодня Корниенко раздвоился: за дверьми, где-то там, на дворе был Корниенко-юноша, любивший бурную жизнь и дерзко хватавший ее за вихры, а здесь, в низенькой комнате, между граммофоном и пеленками — Корниенко-обыватель, покорный и плаксивый, которого жизнь схватила руками Антонины.

Быть может, все, что вспомнилось, — только „юный задор“, поза, все ложь?

И чувство к Зине, первая могучая песнь души — тоже ложь?

Корниенко не мог разобраться.

Одно только ясно — не хватило мужества, не сумел быть сильным.

Да, это ясно: когда буря разметала отцовское добро, когда убили брата, врага радостно-алых дней, это, ведь, он внезапно остановился в своем полете, подумал и, опустив крылья, поплелся назад.

А потом — пустота в душе, блуждания, бесприютность, тиф...

Раздувало ветром вялый лист по степям, и очутился Корниенко в Тихом хуторе.

Он не думал здесь оставаться надолго, хотел только отдохнуть.

Хозяйка хорошая, хата опрятная. В хате окошки подслеповатые, с надтреснутыми и ловко подклеенными стеклами. Толкнешь — и подгнившие рамы распахнулись, а в лицо струей ласкающий запах сада...

В Тихом хуторе жизнь спокойная.

Октябрь грозно проходил где-то там, большими дорогами. Корниенко слышал его, слышал и не верил...

Когда же стало ясно, что все дороги сотрутся и будет Октябрь везде, в каждой щели, — закралась тревога.

И Корниенко понял, что он, в самом деле, лишний, что он проспал и что последний этап его отступления — Антонина.

Но как обо всем этом рассказать Зине? Поймет ли она его? Захочет ли слушать?

Корниенко нервно потирал руки, курил папиросу за папиросой и большими шагами мерял комнату.

— Будем ожидать с обедом, или как?

Антонина накрывала стол чистой скатертью, привычными движениями собирала посуду, и тарелки жалобно звенели в ее руках.

Этот звон тоже раздражал.

Корниенко решительно повернулся к ней, хотел что-то сказать.

Перед глазами — крепкая, кругленькая фигурка, из-под красной косынки толстые щеки, подушка студенистых грудей...

Новая, другая, совсем не та, что была, точно кто подменил, точно впервые увидел.

— Так будем, спрашиваю? Уже пора.

Корниенко стиснул зубы.

— По-до-ждем, — процедил медленно, тихо.

Захныкало в люльке.

Антонина оттолкнула его, клубочком покатилась к постели.

— Люу... люу... Молчи, а то отец побьет.

Расстегнула пазуху и, кормя ребенка, поплыла с ним по комнате.

Корниенко вздрогнул, словно от внезапного удара. Схватил клочок бумаги, быстро начал писать.

— Антониночка, я чуть не забыл... Мне к Карпу надо забежать. Я скоро... Когда приедут, ты извинись и эту записку отдай... Я скоро...

Схватил шапку и выбежал.

У ворот Карпа он задумчиво потоптался и пошел межою в степь.

* * *

Зина и на этот раз не изменила своей пунктуальности. Как только сумерки подкрались к окнам, она шумно отворила дверь заведечеревшей комнаты.

Навстречу первым выплыл из полутьмы накрытый стол и оскалился в гостеприимной усмешке рядом тарелок.

— Ого! Что это у вас, крещение, рождение? — рассыпала колокольчики смеха и поздоровалась.

Низенькая комната насупилась: резвая гостья слишком потревожила покой и разбудила ребенка.

— Ага, это ваш сынок?

— Мой и Павла, — серьезно ответила Антонина.

— Да, да, знаю, мне уже все рассказали... — и схватив ребенка за нос, опять рассмеялась, внимательно пронизывая взглядом маленькое личико.

— А где же товарищ Павел?

— Побежал к соседу... Сейчас придет. Записку вам оставил.

Зина развернула:

Прости меня, но не жди. Не приду... Не могу, пойми.

Знаешь, Зина, если потушить огонь и не придавить фитиль, свечка сильно начадит. Вот такой же фитиль чадит у меня на душе... Не могу. Пойми...

Зина еще раз перечитала, потом схватила карандаш и вверху черкнула резолюцию: „Интеллигент. Тряпка“

— Ну, прощайте... Желаю всего лучшего.

Антонина заволновалась.

— Да куда же вы? Да подождите. Переночуете...

— Нет, некогда, — и, попрощавшись, быстро вышла.

Антонина пожала плечами и удивленно застыла среди комнаты.

* * *

Было уже совсем темно, когда постучался Корниенко.

Антонина плеснула бранью и разошлась на весь дом. А Корниенко, точно побитый, тихонько сел у стола и, не отрываясь, долго смотрел на огонь в лампе. Ждал, пока успокоится жена.

— Посмешище из меня делать? Потаскух в гости зовешь, а сам удираешь?

И залилась слезами.

Он поднялся и вдруг стукнул кулаком по столу так, что тарелки испуганно задрожали и с плачем покатались на пол.

Антонина сразу замолкла.

Но ссора затянулась до полуночи, и Корниенко уже не мог заснуть.

На рассвете загорланили петухи, и поползла ночь в овраг.

Тогда Корниенко вскочил, развернул записку, перечитал еще раз. Больно стало. Защекотало в горле до слез. Быстро начал одеваться.

— Ты куда?

— Не твое дело.

— Куда? — вскочила с кровати и вцепилась зверенышем.

Глаза горели отчаянием, страстной мольбой.

Еще минута — Корниенко должен покориться.

Понял.

Схватил ее в объятия и... колеблясь... через минуту изо всей силы отбросил на постель.

Она бежала за ним через весь двор, но он не оглянулся.

* * *

До местечка было десять с лишним.

Корниенко пришел усталый и только здесь, в канцелярии исполкома, где ему посоветовали ожидать Зину, он вспомнил, что совсем не приготовился к встрече: всю дорогу думал об Антонине, о том, что может случиться в его отсутствии.

Встревоженно глянул по сторонам.

— Вот сейчас она может войти...

И Зина вошла — стройная, решительная, с портфелем под мышкой.

— А-а-а?... Доброго здоровья!

— Товарищ Зина, простите и поймите же...

— Прощаю и понимаю. Это когда-то я не могла понять, почему вы с нами, а теперь... теперь я вас вполне понимаю.

Корниенко открыл рот, чтобы сказать, но Зина перебила:

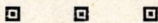
— Ну, мне некогда — по району еду. Прощайте...

Заторопилась из комнаты. Вскочила на телегу. Приветливо улыбнулась.

Он долго смотрел вслед...

Потом опустил голову и медленно пошел назад — той тропинкой, что в Тихий хутор.

Харьков, 1923.



ДНИ ЮНОСТИ

NTCONE NHD

I

Утренний гудок Багучанского завода застал Татьянку на огороде — грядки полола.

Услыхала — вздрогнула... На мгновение сердце замерло.

Гудит...

Порывисто вскочила, приставила ладонь козырьком к бровям (солнце слепит), взглядом к небосклону полетела.

Из оврагов, что далече протянулись по ту сторону сенокосов, туман седой. Ничего не видно. Только дымные, словно в инее, верхушки деревьев. А за оврагами эхо отдается...

На курган взбежать бы, взглянуть — в Галайках с кургана трубу видно. А что? В самом деле?.. Вдоль соседской левады¹, канавой? Пригнувшись?..

Рванулась было, да вдруг самой смешно стало. И смешно и радостно.

Ведь, сейчас Марк вспомнил о ней, ведь, это он вчера придумал: загудит на заводе — здравствуй, Татьяна!..

— Здравствуй, Марк!

¹ Сенокос вблизи усадьбы.

Где-то там, в дымке горизонта — сильный размах бровей, немного тронутые оспой щеки и на губах, в уголках, усмешка легкая, особенная.

Там, за оврагами, где осел шумливый великан...

Эхо прокатилось, растаяло, а она еще долго стояла, взволнованная, прикрываясь ладонью, мыслью обгоняя дали.

И когда вновь принялась за работу, Марк не выходил из головы.

Вчера Марк как-то странно назвал гудок. Она сейчас не могла вспомнить это слово и очень жалела. Вчера он рассказывал о машинах, а ей трудно было понять и поэтому было неловко. Когда же призналась, взял легонько за руку (жилистая и горячая у него рука) и сказал, что нужно все знать.

Он часто это говорит. Он говорит, что ему тоже мало быть слесарем, тоже еще многое нужно узнать. А Татьяна, слушая его, часто удивляется себе самой: она невольно следует его советам, и с каждым разом незаметно крепнет в ней какая-то уверенность. Вот с той же непонятной уверенностью она все чаще забегает в большую хату на селе, где на полках, на столах много книг. Но от Марка с этим таится, — готовит ему неожиданный подарок. Дома — слезные упреки, иногда угрозы. Но она продолжает свое. Каждый, самый маленький успех приносит радость и ободряет.

Беспокоит лишь поведение Марка: странный он немного, на иных не похожий, молодой, а повадкой будто бы и не парень.

На минутку останавливалась мотыгу почистить, и глаза снова невольно устремлялись в серо-синюю даль, жадно искали, готовясь жадно пить...

Истомно и щекотно было в груди.

— У-хи! — внезапный короткий свист, разорвав воздух, с шорохом рассыпался у ее ног.

Оглянулась — никого. Но едва только взяла в руки мотыгу, как вновь зашелестело по картофелю.

— Вот еще!.. С чего б это я? — вскрикнула Татьяна удивленно-обиженно.

— Ха-ха-ха! Бог в помощь! — выросла неожиданно за плетнем могучая фигура.

Это был Родион.

Отрывистый, тихий звук замер на ее губах. Сердце — ударами неудержными, а в густом вихре обрывистых, путаных мыслей — яркой вспышкой недавняя встреча с Родионом. „Ау, голая!“ — кричал он тогда на весь берег и не пускал из воды. Потом гонялся за ней по лугам, и, наконец, поймав, как сумасшедший, в диком порыве качал на руках, пока не вырвалась и не убежала.

В его натуре таилось для Татьяны что-то манящее, волнующее. И пугало, и дразнило, и привлекало.

В последнее же время он навязчиво преследовал ее и хвастал, что, несмотря на все сопротивления, не выпустит из своих рук.

— Татьяна!.. Ха-ха-ха! Неужто промах? — наклонялся он к плетню, захлебывался.

— Тоже... еще чего...

— Ну, а если б попал?

— Ну, и увидел бы!

— Ха-ха!.. Показала бы?..

— Ой, Родион, не завирайся... нос утру.

— Неужто?..

Он быстро нагнулся и, схвативши комок земли, прицелился:

— Держись!..

— Брось, Родион. Ей-богу, рассержусь...

Стоял, занеся высоко руку, сильный, загорелый, весь налитый солнцем.

Лицо его дрожало от смеха, и на темном фоне усиков резко серебрились зубы.

— Ну, пусть тебя... не буду,— в сердцах размашисто запустил комком в бурьян.

Татьянка, притворяясь равнодушной, поспешно занялась работой и уже с излишней старательностью вскапывала землю.

— Поди-ка сюда! Слышишь?

Она не отвечала, лишь исподтишка взглянула на Родиона.

— Иди же... Что-то ва-а-ажное скажу,— хитро прищурился, склонив голову на бок,— не бойся, мать ничего не скажет.

Она хорошо знала, что мать смолчит, если она и полдня простоит с Родионом. Мать сама заискивала перед Родионом, наказывала быть с ним приветливой: он, ведь, богатый, хозяйственный парень. Он не ровня „ветрогону“ Марку, за которого часто Татьяну брали, требовали порвать навсегда и обходить за тридевять земель.

— Не хочешь? Ну, так я сам! — крикнул опять, перебрасывая ногу через плетень.

— Постой.

Пошла медленно, понутив голову.

По дороге сорвала стебелек и грызла сочный кончик. И хотелось, чтобы огород был длинный-длинный, а до плетня далеко-далеко, чтоб итти вот так до самого вечера...

— Осторожно, крапива! — порывисто бросился к ней Родион.

В глазах его блеснул радостный огонек, руки протянулись. Но вскоре огонек погас, и протянутые руки он изо всей силы опустил на колья — плетень охнул. Лицо исказилось, словно от боли. Нагнулся ближе и раздраженным низким голосом пробормотал:

— Тоже... загордилась...

— Отчего бы мне гордиться?

— Да не знаю... Может, богатством, а может... с багучанскими шефами любовь уж очень сладка?

— Родион, я уйду, — сказала обиженно.

— Ну, чего Родион? Чего? На леваде вчера сам видел. Сладко?

— Родион! — вскипела Татьяна, решительно взглянув на него.

Этот едкий тон, грязные подозрения, явная насмешка над мнимым богатством — возмутили до глубины души. Хотела резко ответить ему, хотела многое сказать, но лишь смотрела прямо в глаза немигающим, укоризненным взглядом.

И Родион отвернулся. Сдерживая себя, заговорил мягче:

— Ну, вот... Чего ж ты так? Разве неправда? Разве не знаешься со всякими там... заводскими коммунистами?..

Не сморгнув, смотрела все с тем же укором, а Родиона это еще больше раздражало.

— Что ж молчишь? Нечем крыть, правда? стыдно, правда? Так стыдно, что и подойти боялась. Да? Я тебе, Татьяна, говорю: я не могу... Я его, гадину желтобрюхую, прикончу.

— Кого?

— Марка твоего, коммуниста несчастного.

— Да чего ты пристал? Уходи лучше. .

— Ага, пристал! Ходят, шепчутся... Думаешь, ты ему очень нужна? Ты, простофиля?

— Не твое мелется.

— Нет, мое! Как же не мое? Ха-ха! Это мне нравится... Ха-ха-ха! — горячился Родион, смеясь нервным колючим смешком, — это мне нравится! Ходит, выпрашивает у тебя, простофили, что да как в нашей стороне. Знаем... Шеф! Штучка! Знаем, видали!.. Шмыгают, выпрашивают, высматривают, а потом за чуб и растуды!.. Эх, не трогай смолу — запачкаешься. Смотри да оглядывайся. Я тоже пороха понюхал. Мне недолго. Только того — и тебя туда же!

Голос его срывался. Между бровей залегли морщины. Лоб покрылся потом. Вздрагивал он весь, словно в лихорадке.

Татьянка смущенно посматривала: таким она еще не видала его. А слова, брошенные в запальчивости Родионом, точно угольки жгли уже беспокойно-болезненно.

Ее поразила неожиданность и смелость такого объяснения. Ей самой все это никогда бы в голову не пришло. Еще не могла поверить, еще не успела охватить, обдумать все, что сейчас услышала, но сомнение уже закрадывалось, смущало. И хотя слишком груб и угрожающ был гнев Родиона, но вместе с трепетом страха охватывал ее другой непонятный трепет. Непонятною силой притягивали к себе резкие размашистые движения и острый взгляд исподлобья и дрожащие от волнения вишнево-влажные губы.

Она подошла ближе и, чтобы успокоить, слегка коснулась его руки:

— Брось, Родион... Иди себе.

— Как это иди? Почему иди?

— Иди, не испугаешь...

— Нет, не пойду. И пугать нечего. Я все знаю... Знаю! — ударил кулаком по плетню, словно этим хотел подтвердить свою уверенность.

— Что же ты знаешь?

Притих. Дышал тяжело, по-звериному раздувая ноздри. Скрутил папироску, задымил, будто испытывая терпенье, и сурово смотрел через овраги, туда, где в дымке горизонта едва-едва виднелась шапочка трубы.

Спустя несколько минут, медленно начали вытягиваться, расплываться горькие складки на его лице. Мужественное лицо принимало свое привычное выражение, становилось спокойнее, и только на виске порывисто дергалась жилка.

— Вот что, Татьяна. Давай говорить по-иному... А то накипело у меня, ну его к чорту...

Он пробовал оправдать свое поведение. Ласковым тоном хотел расположить Татьянку к себе и вместе с тем доказать, что во всем виновата лишь она. Разве можно быть спокойным, когда на селе слух уже пошел, что она и на завод бегают? К нему! Правда ли, нет ли, но как же тут не вскипеть?

И опять, подбирая разящие доказательства, он силился убедить Татьянку в ее нерассудительности, неосторожности. Уверял, что багучанские спектакли, багучанские шефы, комсомольцы, книги и постоянное упрямство до добра не доведут. Коса, мол, у нее

длинная, а умом и пальца не обернешь. Мало ли терпит мать, мало ли сам он страдает? А разве они ей враги?..

— Ну, ладно,— перебила Татьянка,— чего же ты хочешь?

Родион виновато, почти по-детски заморгал глазами. Оглянулся вокруг. Хотел что-то сказать и проглотил охрипшее слово. Всегда такой смелый и щедрый на слова, вдруг на диво не к месту запнулся — это было не похоже на него.

Потом тихим, таинственным голосом, словно кто-нибудь мог подслушать, он рассказал, что сегодня беседовал с матерью Татьяны и что на той неделе присылает сватов.

— Примешь?

— Нет,— бросила в ответ и сжалась: страшно стало и за свое и за его слово.

— Нет, говоришь? А мать уверяла, что примешь,— хмурил брови, внимательно всматриваясь в ее лицо.

— Нет.

Минуту молчали.

— Так, нет? Опять зазнаешься?

— Нет.

— Ой, зельечко... Ты его крести, а оно — пусти. Ну, ничего, это мы еще посмотрим! — заносчиво усмехнулся.

На виске опять забилась жилка.

— Мы посмотрим,— добавил, подавляя возбуждение, и холодноватым, полуделовым, полуравнодушным тоном бросил:— пойди в хату.

— Чего?

— Там мать звала... Я муки принес.

Смотрела в сторону — казалось, слушала кузнечика, пронзительно звеневшего в траве.

— Я муки принес, слышишь? — крикнул, наклоняясь ближе.

Молчала.

— Эх, ты! — махнул рукой и быстро, не оборачиваясь, пошел вдоль огородов.

Когда затихли шаги, Татьяна, словно вспомнив что-то, подскочила к плетню и посмотрела вслед Родиону. Он оглянулся. Тогда бросилась в огород, отбежала немного и опустилась в густую зелень картофеля.

Из-под сочной ботвы запахло свежей землей. Схватив несколько буйных стебельков, прижалась к ним разгоряченными щеками, с жадностью вдыхала освежающий землистый запах.

Из всего разговора остались в памяти только обрывки — толпились, разбегались, кружились и опять, обгоняя друг друга, вихрем вздымались вокруг Родиона. Знала, что Родион не шутит. Да и шутить с ним не легко, особенно теперь, когда заручился согласием матери. Отца же у нее давно не было. Был опекун, дядя Влас, крутой, нетрезвый человек, потакавший Родиону.

У него ли спрашивать?

Закрыла глаза — и в зеленоватом тумане промелькнуло лицо загорелое, налитое солнцем... Как мазок смолы, кончик уса. Неутомимая жилка на виске. А потом — пруд, сумасшедшая погоня... А потом...

Когда же вспомнила о принесенной муке, растерялась совсем. На минутку представила себе домашнее счастье в замужестве, и была уверена, что предел

ему — порог хаты. А за порогом, за воротами — сколько еще простора! Сколько воли!

Тут — спокойное, беспечное, но такое все знакомое, будничное. Там — неизвестное, опасное, но такое прекрасное, зовущее своей новизной. Неизвестное так манит и так пугает! В неизведанном столько красоты и столько тревоги!

Там, где - то далеко, много интересного, чего она еще не знает, не испытала, но о чем рассказывает Марк. Разве Марку можно не верить?.. Разве правду говорил Родион?

Вдруг пришло в голову, что до сих пор еще не вспомнила вчерашнего слова, сказанного Марком. Надо вспомнить. Должна вспомнить. Пытливость и настойчивость помогут ей. Должна.

И самой сразу стало неловко и смешно: ну, как тут думать о гудке, когда нужно напряженно, неотступно думать о себе?

— Ах, глупая ж я, глупая... — шепнула укоризненно, закрывая лицо руками.

— Татьянка! Та - тьян - ка - а - а! — прокатился по огородам голос матери, — иди-ка домой. Скорей!

Она пошла не торопясь.

Мать, озабоченно суетившаяся по хате, встретила ее торопливым приказанием:

— Бери, дочка, кадку, готовь закваску для хлеба. Родион, спасибо ему, муки одолжил.

И тепло посмотрела на Татьянку. В этом, будто случайном, несмелом взгляде была благодарность и был волнующий вопрос. Выслав из хаты остальных детей, мать прикрыла двери на задвижку и той же суетливой походкой приблизилась к Татьянке.

— Слава господу милосердному, нам счастье в хату!.. Радуйся, дочка! На той неделе Родион сватов присылает, слышишь? Хотел, будто, в воскресенье, да говорит: отец в городе, не успеет, говорит, вернуться Радуйся, дочка!..

Татьянка задумчиво подняла голову, что-то прошептала, едва шевельнув губами, и внимательно углубилась в одну точку, словно готовясь вот-вот поразить чем-то необычайным.

Мать глянула настороженно. Только хотела коснуться ее, как счастливый юный смех звонко рассыпался по всей хате. Татьяна крепко-крепко обвила руками шею матери и прижалась к ее груди.

Она вспомнила слово Марка. Вспомнила — радио!.. Вчера так и сказал: гудок будет нашим радио.

Ах, какое это хорошее слово, какой хороший, добрый Марк — добрый, и потому так неудержно хотелось прижать к себе мать и целовать ее морщины.

А мать любовно-нежно гладила растрепанную девичью голову и доверчивым тихим голосом говорила:

— Будет тебе у Родиона, как у бога за пазухой... Будет тебе, дочка...

— Что? — отшатнулась Татьяна.

На лицо ее набежала тень, точно она впервые это услышала.

— За Родиона? Я не пойду.

— Ты же сейчас, вот здесь... что ж это ты?..

— Не пойду, — сказала решительно и резко сдвинула брови.

— А за кого же ты? Неужели на завод повеешься? Вшей плодить?

— Ни за кого не пойду. Не хочу замуж.

— Что ты, глупая? Уж не из книжек ли такого набралась? Знаю я, знаю, да не с твоим умом журавлей ловить. Выбей себе, девка, из головы, а то как схвачу твой букварчик — только пыль пойдет! Я же так и знала, я же... — брызнули слезы, обильно покатались по впалым щекам.

Татьянка молчала. И угрозы и брань она приняла, как должное: она давно привыкла к ним и знала, что мать это делает из самых искренних побуждений. Было грустно, трогали слезы, хотелось подойти и сказать что-нибудь теплое, утешительное, но она не подошла и не сказала.

— Закваску готовь! — немного погодя, бросила мать усталым голосом.

II

Ухнуло в просторы, всколыхнуло синеву...

Гулким эхом катилось из завода — как не услышать Галаецкой балке?

Где-то вверху мелькнул пестрый платочек, быстрые глаза, и Марк задорно подмигнул солнцу.

Гей, даль-то какая, простор!

Плыли, покачиваясь в утренних туманах, овраги, ленивоплыли к волнистому горизонту — Галайки!

А на выгоне уже вспархивала песня. На выгоне возня. Кто-то кого-то догонял, кто-то резко вскрикивал. Шум. Гам.

День вставал.

Марк сладко потянулся. Схватил ведро и начал усердно брызгать на себя водой. Ледяные капли падали за ворот, ползли по спине, а он топал, фыркал, размахивал руками. Его веселил шумный выгон, юркие

ледяшки, щекотавшие под рубахой, свежее-обмытая трава под ногами, — все...

Ароматными утрами, когда в теле бродил свежий хмель, казалось, что можно схватить руками далекие холмы на горизонте и, как рычагом, насильно повернуть их вокруг Багучан. И красновато-бурые заводские корпуса усмехались на это издали добродушно-прижмуренной усмешкой.

— Марк, ты ж не забудь дров нарубить, — кинули ему из сеней.

Перед тем, как идти на завод, это было его неизменной работой. Он заторопился — вспомнил, что сегодня у него мало времени. Сегодня доклад в партячейке. Надо подготовиться. Да и завтра общее собрание и заседание культкома. А послезавтра, в воскресенье выступать в подшефном селе, в Галайках.

— Даешь дрова!

Топор высоко взлетел, вонзился со стальным упорством. Полено сразу раскололось на две части, и крепко запахло березовым соком, бодрым, как первый снег.

Прилаживал стоймя обрубки, поплевывал на ладони, внимательно прицеливался, бил коротко, решительно, без промаха.

— Е-гех! — и золотистые поленья падали на землю быстро, покорно.

За работой не расслышал оклика. И лишь когда вторично крикнули ему, остановился и угловато вытер вспотевший лоб.

— Марк!

Удивленно повел глазами: за хатой, поодаль, в густой поросли вишняка стояла Татьяна.

— Ты? — и порывисто бросился к перелазу.

Когда подошел, Татьяна уже отвернулась и задумчиво соскребывала с ветки янтарные капли клея. Тихонько положил ей руку на плечо, тихонько заглянул под платок.

У нее слегка дрожали пушистые ресницы, с губ срывалось неровное дыхание. Не оборачиваясь, сняла его руку и молча прошла вглубь поросли, ко рву, буйно покрытому дерезой.

Марк понял, что она ищет тихого уголка, где бы никто не заметил их. Легко ступая, пошел следом. Но Татьяна возле рва не остановилась. Отвела рукой колючую изгородь и хотела выйти в переулок.

— Куда же ты? — заторопился Марк, хватая ее за корсетку¹, — да куда же ты?

Она не противилась. Отступила немного и тут же медленно села, надвигая низко на глаза платочек и кончиком его неловко закрывая рот.

— Какая-то ты сегодня... ни то, ни се. Что с тобой, Татьяна?

Не отвечая, сломала прутик и начала хлестать себя по босым, запыленным ногам.

— Что с тобой? — сказал тихонько, обнимая.

Но Татьяна вырвала рукав и вдруг уронила голову в колени. Плечи ее порывисто задрожали. Прутик надломился и, качаясь, бессильно свесился вниз.

— Что ты?.. Что это?..

Она еще глубже зарылась головой в юбку. Сжалась комочком. Плакала почти беззвучно, долгим безнадежным всхлипываньем.

¹ Безрукавка.

Для Марка это было впервые. Он еще никогда не видел ее слез. Он никогда и не думал, что Татьяна может плакать при других. Хотел было сразу схватить ее, прижать к себе, заговорить, — хотел отрезвить ее. Поднял руку и остановился взглядом на Татьянинных натруженных ногах. Жаль стало это маленькое, милое существо, со своей болью прибежавшее к нему, старшему, более сильному, и рука соскользнула.

— Татьяна... Ну, хорошая моя. Ну, не надо.

Через минуту, успокоившись, она уже вытирала фартуком лицо и смущенно улыбалась, как бы стыдясь, как бы прося прощения.

— Ах, ты ж...

— Глупая я, глупая... раскисла. А ты не сердись, слышишь? Знаю, что не надо, но ты не сердись.

— Да нет, нет... Ну, расскажи же мне.

— Право, и сама не знаю... Вот, правда же, всю дорогу думала, что как увижу тебя, так сразу все и расскажу, и плакать не буду, а теперь, право же, не знаю...

— Так, дальше, — тепло, спокойно, но настойчиво проговорил Марк.

— Дальше... Но с чего я тебе стану голову морочить?

— Голову морочить? Да что ты?.. Дальше.

— Да, право же...

— Дальше.

— Ну, вот... Ну, — остановилась и сразу, гибко повернувшись и игриво заглядывая ему снизу в глаза, прошептала: — А ты угадай... угадай, Марк.

— Не знаю.

— Угадай... ну, угадай...

Марк покачал головой, нетерпеливо пожал плечами.

— Не знаешь? — и, помолчав немного, добавила разочарованно, полушопотом: — А я думала, знаешь...

— Да что ты в самом деле?...

— Подожди, Марк, не сердись. Подожди, я сейчас... я хочу посоветоваться. Ну, право же...

И наконец, отважившись, она полушопотом, растягивая слова, с трудом выговаривая, рассказала все, что произошло вчера между нею и Родионом. Вчера вечером опять заходил Родион. Хотел исправить утренний неудачный разговор, хотел склонить Татьянку и добиться согласия. И снова мать выговаривала ей до поздней ночи.

Слово за словом, незаметно для себя, она сегодня впервые рассказала Марку о хате с книжками, о домашних неприятностях, обо всем, чего он до сих пор не знал. Особенно Татьянку беспокоил Родион — его хитрости, подозрения, постоянные угрозы. Даже сегодня, когда она пошла по дороге на Багучаны (дома сказала — за мелясой¹, Родион, который вообще ходит по пятам, заметил ее и, вероятно, догадался. Он кинулся за ней перелеском, что-то кричал вдогонку. Такой безрассудный, такой вспыльчивый, он даже сюда может прибежать и наскандалить.

Марк слушал внимательно, не сводя глаз с ближайшей былинки. Когда Татьянка вдруг умолкла, точно испугавшись, что наговорила лишнего, он не шелохнулся. Долго еще сидел, нахмутив брови, сосредоточенный, строгий.

— Да-а... — сказал, наконец, — вот так... да-а-а-а. Неужели это правда, Татьянка? И о книжках правда?

¹ Свекловичная патока.

Ну, ничего... Это все ничего. Чем хуже — тем лучше... А из тебя, брат, действительно, человек выйдет. Если так, то теперь еще один последний шаг. Там тебе не жить — это ясно. Начала рвать — рви до конца! Никаких гвоздей! К чорту все, и иди ко мне на завод!

— К тебе?.. На завод?

— Да, на завод,— вздохнул полной грудью и, встрепенувшись, широким жестом бросил руку ей на плечо:— На завод! Не бойся, не пропадешь! Пристроим. Служить будешь и учиться... Понимаешь? Учиться... И свободна будешь... понимаешь?..

Татьянка удивленно, напряженно ловила каждое слово, шопотом повторяя его, как ребенок. Но вскоре откуда-то из глубины подползло глухое недоверие и против воли опутало мысли. Все, что она сейчас услышала, показалось ей невозможным, даже смешным.

— Марк, но ты же... но на что же я тебе?

— Ха!.. Вот чудачка! Да что я?.. Обо мне потом. Сама увидишь. А вот ты, ты не чета другим. Ты, я уже знаю, можешь быть сильной, стойкой. И ты можешь быть настоящим другом. А это самое важное, самое большое, самое лучшее... Понимаешь?..

— Нет.

— Ну, так потом... А теперь рви! Раз-два — и конец!

Она опять свернулась клубочком и задумчиво-тихо проговорила:

— Страшно... право.

— Тебе страшно? Ты же не такая. Надо решительно, отважно, вот так! — размахнулся было и сразу застыл с поднятой рукой, — или, быть может, ты мне не веришь?

— И верю... и не верю...

— Ага, вот оно что... Ну, так слушай: в воскресенье я буду в Галайках и зайду к вам, к родителям. А там уже поговорим. Там...

— Нет-нет! Не надо! Не хочу! — вскочила Татьяна, и странные, не то тревожные, не то гордые искорки вспыхнули в ее глазах, — я же пришла за советом, а не свататься. Я очень прошу, не надо.

Марк почувствовал себя неловко. На губах, затрепетав, застыла усмешка — его, особенная. И как потом ни уговаривал, как ни старался доказать, что это единственный верный способ, она не согласилась. Она решительно отказалась.

— Это что-то не то... Я подумаю... что-то не то... — бросила она, торопливо уходя из сада.

Марк не догонял, только задумчиво покачал головой. Каждый раз он замечал в ней что-то новое, пробуждавшееся, как ему казалось, с его помощью, и поднимавшее Татьянку выше и выше. Сегодня же ему многое открылось. Сегодня вырос перед ним как будто новый, интересный человек — сам себе не верил.

Прилив большой волнующей радости хлынул в грудь: крикнуть бы всей грудью громко, раздольно, чтобы голос покатился эхом следом за Татьянкой!

Но он вернулся к хате и поспешил окончить работу.

Когда, собравшись на завод, вышел за ворота, все вокруг показалось будто иным, более новым, более свежим. Вот над трубой сетчатая шапочка, а ниже на горле выступают черные цифры. Разве до сих пор тоже так было? Должно быть, так, потому что труба без сеточки и цифр была бы странной, смешной, словно безбровое лицо.

В долине, где речка, где обшмурыганный мостик, мальчуган, въехав с бочкой, набирает воду.

— Эй, пацанок, не падай!

Под одним берегом поблескивает песчаное дно, и на него сочными пятнами упало несколько обломков кирпича. А дальше — темно-зеленая глубина. Утки лопочут, опрокидываются вверх ногами, встряхиваются... Вскочить бы самому, нырнуть глубоко, захватить со дна песку, взбить вокруг себя шум-пену!..

Солнце припекает. На гребень каменной заводской ограды, густо усыпанной битым стеклом, оно бросило тысячи слепящих огоньков. Весь гребень сияет, даже больно глазам. Всегда темновато-хмурые цистерны, рядами вгрузшие на той стороне, теперь посветлели, точно стали легче, приветливее. И с далеких шелудивых куч извести сползла сухая ржавчина, — они смеются к солнцу празднично-белые, нарядно-вспененные...

... Подле контрольной будки кто-то исподтишка подошел сзади к Марку и поздоровался. Не успел ответить, как перед ним уже вырос Родион.

— На завод? — спросил Марк удивленно.

— Ага... Мне надо жмыхов набрать. С прошлого годнего подвоза пудов двадцать осталось. Да подожди, покурим...

— Нет, спасибо, я не курю.

— Ну, так поговорим.

Родион сунул под мышку кнут и начал крутить папиросу, старательно, ровненько обкусывая бумажку. На его красивое смуглое лицо падала тень от козырька. Глаза затаенно прятались в тень. Казался спокойным, хотя пальцы дрожали и рассыпали табак. Черкнул спичкой, равнодушно бросил:

— В воскресенье будешь?

— В Галайках?.. Буду.

— Та-а-а-к.

Марк опять сделал шаг к заводу, но Родион преградил дорогу:

— У меня к тебе важное дело, — и попросил отойти в сторону, где меньше людей, чтобы свободно поговорить.

Отошли. Остановились за углом стены. Родион сплюнул сквозь зубы и решительным взмахом сдвинул фуражку на затылок, блеснув потной белой полосой на лбу.

— Так вот... Я тебе, Марк, по-хорошему скажу: брось Галайки. Понимаешь? А если нет, если нельзя тебе, то, по крайней мере, нашу сторону брось. На Загребелье не заходи.

— Почему же?

— Да не верти! Чего ты все вертишься, словно шутишь в балагане?

Марк усмехнулся.

— Не смейся, Марк, — погрозил пальцем, — не смейся... Деснами, браток, засмеешься.

— Ого!.. вот как? Ваше предложение принято к сведению.

— Да чего ты выкаешь? Чего задаешься?.. Нет, стой! — забеспокоился Родион и подошел ближе, широко расставляя ноги и прижимая Марка к стене, — стой! Ты скажи мне, Татьяна сейчас у тебя была? А?

Смерив несколько раз холодным настороженным взглядом крепкую фигуру, тяжело дышавшую прямо в лицо, Марк холодно сказал:

— Брось.

— Была, спрашиваю?

— Брось.

— Ну, смотри же!

Круто повернул к углу ограды и с размаху щелкнул кнутом по земле.

III

На покатых склонах, на крылатых спусках оврагов, пестревших издали зеленым овчариком, веет — легко, нежно, душистой прохладой. С дальних косогоров подплывая, несмело заигрывает, припадает, приглаживает кудрявые верхушки.

А оголенные желто-бурые пригорки млеют. Их редкая поросль давно стала серой от неумолимой жары, дождей да ветров-гонителей. И кустики бессильно опустили свои тонкие ручонки, задумались...

Будет пряный, душный день.

Когда тропинка хитро повернет и побежит вниз на дно оврага, вырастают с обеих сторон крутые вершины, словно стены нескладные, словно причудливые вечные сторожа лесных тайн. Внизу темно и сыро. Под старыми, замшелыми пнями буйно стелется лапчатая ежевика, и на сизых листьях поблескивает роса. Кой-где под кустами в густых, точно в погребе, тенях столбами стоит мошкар.

Внизу и тише — притаившийся сполох. А поднимешься выше, на другой-третий уступ — уже в переплетенной солнцем гуще шумливая птичья возня. Временами весь этот шум победно-радостно покрывает звонкий зов:

— Тиу-лиу-тиу!..

Будет жаркий день: иволги всегда поют к грозе.

Где-то, когда-то Марк слышал такую „премудрость“ и сейчас случайно вспомнил о ней. Хотя и не верил, но, вспомнив, слегка забеспокоился: если пойдет дождь, народу в читальне будет мало, а он так тщательно готовился.

— Тиу-лиу-тиу!..

Шли группой. Двое взрослых, которые должны были сегодня выступить в Галайках, остальные — комсомольцы, собравшиеся организовать на Галайковском пруду состязания в плавании и основать спортивный кружок.

С завода поехали на бричке еще несколько человек. Повезли портреты в самодельных рамах и волшебный фонарь.

— Тиу-лиу-тиу!

— Господин безбожник, — улыбнулся Марк товарищу, специалисту в антирелигиозных делах, — слушайте, что она поет? Вы слышите?

— А что?

— Вот слушайте, — подобрал высоким фальцетом тон и, удачно пародируя, пропел: — Госпо-дипо-милуй...

— Ха-ха-ха!.. А в самом деле! — расхохотался безбожник, — так она в лесу хочет насаждать религиозный дурман? А? Братва, заглушить ее! За мной!

И завел первое, что пришло на ум:

Не хмара й не грім!

Молодые, звонкие голоса охотно подхватили:

Е-гех, наступає!

Та й не дрібен дощик накрапає...

Звучно грянула песня, ударились о крутые стены балок, потревожила овраги, с шумом раскатилась.

Хмурые вершины удивленно моргнули, насторожились. Казалось, даже немного отодвинулись, давая дорогу звукам.

Но песня скоро разладилась.

— Даешь кирпичики! — выскочил шустрый комсомolec.

— Даешь!

Сначала неуверенно, недружно, перегоняя один другого, вспорхнули звуки. Потом все согласнее, сильнее и сильнее, с молодым задором полетели они, увлекая самих певцов, вырастая, покрывая все вокруг.

Горе мыкая, лет семнадцати,

На кирпичный завод нанялась!

Овраги вздрогнули, прищурились, слушали.

Эта песня недавно появилась в Багучанах, и потому, своеобразно акцентируя, пели ее с особенной любовью, воодушевленно.

За веселый шум, за кирпичики

Полюбила я этот завод.

И вторил речитативом, захлебывался тенор:

... За кир-пи-чкики!

А более спокойные бархатистые баритоны, подхватив брошенную им золотую нитку, доматывали разноцветный клубок с гордой уверенностью, с теплой улыбкой:

... полюбила я этот завод...

Шла небольшая группа, а казалось — целый отряд. Решительные. Сильные. Юные.

Не свалить ли развесистый дуб? Иль, быть может, овраги сдвинуть, раздвинуть, сравнять? Ой, берегись, хмурое овражище!

Еще не так давно кишмя-кишело в извилинах этого темного дна. Над лощинами грохотало и зали-

валось предательским свистом. Тогда были дымные и кровавые дни, а ночи вспыхивали огненным цветом. Тогда в Галайках испуганно поднимался трезвон, словно на пожар. Галайки исступленной ордой ползали по оврагам, подстерегая багучанцев, а когда сходились и проигрывали бой, в камышах над прудами тесно было от обезумевших людей.

Вот за этим обрывом, в такой же летний день, как и сегодня, Марк был ранен. В той стычке с вражьей стороны участвовал и Родион. Марк это хорошо знает. Родион потом куда-то исчез и вернулся в село только года через два.

Утихло, стерлось, но не скоро забыть крутоярим вершинам — туманы, ползущие с илистого дна и обволакивающие их косматые головы, иногда еще пахнут кровавой испариной.

Было...

А теперь шли весело, такие же решительные, сильные, как и тогда. Твердо шли, протягивали дружескую руку.

И Галайки, опомнившись, удивленно, с любопытством оглядывались, словно впервые заметили, что неудержимым житейским прибое вынесло их на грань, что вокруг творится что-то неожиданное, необыкновенное.

Быть может, не все могли вполне постичь, охватить, но уже стадным, земляным, никогда не обманывающим чутьем поняли существенность и красоту величавого сдвига, уже в глубине души своей каялись, верили.

Когда Марк со своей группой пришел в село, возле читальни стояла уже распряженная заводская бричка и на пороге, облепленном вихрастой резвой детворой, пестро теснились сермяги, рубахи, шляпы

и шапки. Оживленно беседовали, попыхивая толстыми кружонками. Мельком, торопливо оглядывали каждого вновь приходящего и, слегка касаясь рукой шапок, здоровались.

Начали не скоро — выбирали место для портретов, прибывали, украшали цветами.

Марк последний имел слово. К тому времени комната была переполнена. Воодушевившись, он просто, понятно, с теплым подъемом, делавшим его речь убедительной, начал говорить о тех досадных явлениях, которые и до сих пор гнездятся по темным углам, и тут же, в противоположность, ярко доказывал необходимость и возможность избавиться от них.

В задних рядах он дважды заметил фигуру Родиона. Вынырнула и спряталась.

Это его еще больше заохотило, приподняло, и горячие, захватывающие слова обильно посыпались туда, к дверям.

— Правильно, — подбодрял кто-то из угла.

Его настроение передавалось слушателям — ловили каждое слово. Он чувствовал, что его понимают, принимают и разделяют брошенную мысль, что между ним и ими тесная, доверчивая связь. И потому легко и радостно было говорить. А когда кончил, его кругом обступили и наперебой засыпали вопросами.

Марк был счастлив. Начав более спокойный разговор, он между ответами невольно вспоминал отрывки из доклада и яркие моменты того впечатления, которое произвел доклад, и, вспоминая, каждый раз чувствовал трепетное удовлетворение.

Так был увлечен сегодняшним днем, так углубился в свою работу, что когда все темы были исчерпаны

и комната начала пустеть, он не поверил, что пролетело уже три часа. Ему показалось — минут десять.

Вспомнил о Загребелье, о том, что сегодня среди других не заметил Татьянки. Неужели насильно не пустили? Неужели дошло до этого? Нет, надо покончить. Так дальше нельзя. А Родион?.. От него Марк ожидал каких угодно хитростей, но был уверен, что все это искусственно-фальшивые угрозы, что, наконец, он и сам не допустит серьезной стычки с Родионом.

В другом случае он бы долго не раздумывал: не хотелось разбавлять или сгущать сладкую остроту сегодняшнего дня. Но откладывать нельзя. Пускай Татьянка противится, но откладывать все-таки нельзя: сейчас не время играть в самолюбие или скромность и от этого терпеть, почти сознательно калечить, разбивать всю жизнь, такую нужную для других и такую дорогую для него самого.

И он решился. Чтобы скорее и удобнее попасть, он пошел по узкому, как щель, переулку, потом по леваде и прямо с прибрежной тропинки попал в огород. Уже с порога он услышал говор. Быть может, и чужие — поворачивать поздно.

Переступил.

В угрюмой, с маленькими оконцами, хате было накурено и душно. Сразу после солнца потемнело в глазах, и он не мог узнать лиц.

— Здравствуйте.

Минута тишины — и, точно по команде, несколько голосов буркнули:

— Доброго здоровья.

Дядя Влас поднялся, протянул Марку шершавую руку. Из полутемного угла выплыл Родион. Молча

уступил место на скамье и отошел к лежанке. На Марка и не взглянул. Оперся на карниз и, торопливо затягиваясь, пускал дым в печку.

В хате, кроме Татьяниной матери, был худенький, юркий человечек с бельмом на глазу. Тот решительно придвинулся к столу, захватил ртом кончик рыжего уса и с любопытством вытаращил бельмо на Марка.

Разговор не налаживался. Чувствовалась вынужденная напряженность, будто неожиданно, некстати открыли при всех какую-то тайну.

— Параска, — обратился Влас к хозяйке, — ты бы нам сюда перекусить?.. А? Ничего, что постно — люди извинят...

— Сейчас.

Родион швырнул окурок на шесток и схватился за шапку.

— Вы куда?

— Да... я сейчас, сейчас приду. Дядя Степан, вы со мной? — бросил худощавому.

— А как же, как же, — торопливо подскочил Степан, запахивая полы сермяги, точно собирался на мороз.

— Простынет, ведь... — лукаво прищурился хозяин.

Марк поспешил использовать этот перерыв — хотел уйти из хаты раньше, чем возвратится Родион. Лишь только дверь закрылась, он попросил минуту внимания и приступил к делу. Говорить было трудно, никогда не испытывал такой неловкости, как сейчас вот перед крутым хитрым дядей Власом. Он, конечно, предпочел бы отчитать Власа, сказать ему в глаза всю правду о нем же самом, чем обращаться к нему с просьбой. Но надо было избегать всяких обострений

и Марк, вежливо, просто и кратко изложив суть дела, попросил отдать Татьянку.

Родители, очевидно, никак не ожидали. По крайней мере, не ожидали сегодня, да еще в такой странной, простецкой форме, без предупреждений, без должной торжественности. Растерянно переглянулись. Первой заговорила мать. Но не успела она молвить и двух слов, как в хату вскочила Татьянка.

— О? — и остолбенела.

На нее поспешно замахали руками.

— Вон Родион идет! — крикнула, выбегая.

Разговор был прерван. Действительно, ввалился запыхавшийся Родион с тем же подслеповатым человеком. Не спрашивая, подошел к скамье и расселся за столом уверенно, по-хозяйски, будто у себя дома.

— А то, что простыло, надо подогреть, — подмигнул и вынул из кармана бутылку самогона, — да и с Марком надо мировую запить... Он знает...

— Нет, благодарю, мне итти... — поднялся Марк.

— Куда?

Он и опомниться не успел, как его уже схватили и насильно тянули в красный угол. Уговаривали. Припрашивали. Шутливо укоряли.

— Что же это вы, плюнули через порог и бежать? Гнушаетесь? Да где же это видано? Да это же обида!

А Родион свое:

— Марк, помиримся! Вот на мои пять! Давай помиримся...

— Да я, кажется, и не ссорился. Но я же не пью.

— Да хоть одну капельку. С нами.

— Ни-ни.

— Ну, что ты поделаешь... Ну, хоть посидите, если уж так...

— Посидеть можно. И то недолго... Чтобы как-нибудь сгладить настроение и почувствовать себя удобнее, Марк взял лепешку. Есть ему очень хотелось, но тесто было слишком вязкое, невкусное (иль, быть может, это казалось?). Жевал, лишь бы жевать. Сидел, как на иголках.

Родион (видно, не первая рюмка) с преувеличенным старанием наливал, приговаривал, опрокидывал одну за другой, со вкусом переполаскивая во рту.

Вскоре лицо его стало, точно бурак. Глаза посоловели.

— Эх, кум, выпьем тут — на том свете не дадут!

И он в сердцах стукнул пустой рюмкой. Покопсился на Марка. Заметив, что Марк хочет встать, поспешно перелил через край новую и тоже поднялся.

— Пей! — сказал глухо, но с вызовом.

Марк сделал вид, что не понял, будто это не к нему относится.

— Пей, говорю тебе! Слышишь?

— Прощайте... Мне все же пора.

— Нет, стой! — выскочил Родион на середину хаты и схватил его за плечи, — стой, браток! Не зазнавайся. Вот видишь, налито? Пей! Пей, говорю тебе!

Сам он пошатывался. Порывисто дышал. Водил по всей фигуре Марка выпученными, стеклянными глазами.

— Слышишь? Пей!

— Хо-хи... хо-хи... — захихикал пьяненьким смешком Степан, вытягивая свою длинную шею.

Подскочили хозяева, пристали к Родиону с угрозами. Но Родион не отпуская рук. Еще сильнее

сжимал ими, как клещами, и упорно, с невыразимой злобой, всматривался в лицо Марка.

Марк чувствовал, что легко может сбросить его руки, но знал, что это будет началом настоящей драки. И он, с онемевшими от боли плечами, стоял спокойно, ожидая удобной минуты, чтобы разрядить стычку без лишнего шума.

— Родион!.. Ну, послушайте нас! Мы же вас просим... Ну, отпустите человека.

— А разве это человек? Я вас спрашиваю, разве это человек, если он не пьет? А?.. Нет, браток, пей! Пей, говорю тебе, — и решительно начал подталкивать Марка к столу.

— Хо-хи... хо-хи... — опять распоясался Степан.

Вдруг дверь распахнулась. Кто-то грубо вскрикнул, подскочил сзади (Марку трудно было рассмотреть) и начал разнимать окостеневшие пальцы. Родиона. Марк сильно дернул плечом, освободился.

— Ах, дак ты драться? — заревел Родион, всем телом бросаясь вперед.

Но тут же неловко взметнул ногами, поскользнулся. Его схватили поперек и уже тянули в сени.

Произошло все это очень быстро. Марк не успел еще расправить мускулы, обдернуться, как хата была пуста. Шум перебросился во двор. Через оконце увидел он, что подле ворот, сжав руки на груди, застыла побледневшая Татьяна. А у самого порога возились с Родионом. Кроме других, его утихомиривал еще какой-то незнакомец большого роста. Вероятно, присутствие этого человека немного отрезвило Родиона: перестал сопротивляться, утих и только поводил затуманенными глазами.

Родиона просили итти потихоньку домой, проспаться..

— Человек же не пьет... не может... Зачем же к нему приставать? Не может пить, непьющий, значит... Понимаешь? — старательно, с чрезмерной заботливостью, как ребенку, объясняли хозяева.

— Да что он кочевряжится? Что он задается? Не пьет! Ха! Да он завтра за этот самый самогон вас же запроторит, — опять рванулся Родион и заревел на весь двор: — Люди добрые, посмотрите! Ведь, это коммунист! Люди добрые! Он же сегодня на собраниях самогон уничтожал, а теперь сам напился. Сам напился!

Марка точно варом обдало. Не помня себя, кинулся из хаты, но дверь в сенях была заперта сложным засовом, и он долго шарил впотьмах, пока открыл.

А перед глазами, как вкопанная, Татьяна.

— Марк!

Марк опомнился. Неопределенно махнул рукой и, сдерживая возмущение, постепенно овладевая собой, взглянул в ее строгое, как бы застывшее лицо.

— Кто это? — кивнул, погодя, на нового.

— Сосед. Я нарочно позвала, — сказала коротко, нехотя.

— Ты позвала?

— Да.

— Ну, и чудак Родион, — покачал Марк головой, но она сжалась, не ответила:

Снова взглянул на нее — упрямой складкой губы и под стянутым шнурочком бровей какая-то скрытая мысль. Да только сейчас некогда было допытываться.

Родиона уже успели связать поясом и, закрывая рот, насильно втащили в погреб. Дверь снаружи укрепили подпоркой. Стихло...

— Пусть прохладится, — усмехнулся великан-сосед, подходя к Марку, — не взыщите, он у нас, когда рюмку опрокинет, так и того ... точно придурковатый.

— Конечно, конечно... такая оказия... — в один голос поддакнули и хозяин и Степан.

Марк попросил извинить его за беспокойство и крепко пожал руку соседа.

— Очень благодарен. Если бы не вы...

— Я и говорю, зальет зеньки и словно одурелый. Нет того, чтобы по-человечески, мирно...

— Зато просто: кто не пьет — бей! — с усмешкой добавил Марк.

Хозяин тут же предупредительно начал рассказывать соседу, как зашел один гость, как другой, как вдруг разгорелась ссора... Родиона щедро осыпал бранью, а Марка льстиво приглашал опять в хату, хотя по всему было видно, что он очень недоволен этим неожиданным посещением.

Марк решительно отказался. Обещал в другой раз навеститься и, попросив не забыть о его просьбе, откланялся.

IV

С вечера затянуло небо рваным свинцовым тряпьем. В воздухе лениво ползла томительная духота, бесшумно опускалась на землю, кружила голову приторными теплыми испарениями.

Свинцовые лохмотья вверх, как дикие длинногривые табуны, охваченные облавой и вспугнутые

с горизонта, — теперь они мчались в одну сторону, грозно подымались на дыбы, падали и тонули вмуте.

Испуганный месяц вынырнул было на минуту, но тут же зацепился, запутался и, дерзко распахнутый, торопливо начал кутаться: не в такую бы ночь ему тешить юных.

А ночь пришла с ворчанием, сердитая, нахмуренная — и притихло все в напряженной темноте.

Где-то далеко-далеко гремели нагруженные бочками гигантские телеги, и коротко взлетали в небо молочно-фиолетовые причудливые птицы.

Татьянка ночевала в овине. Немного не по себе было среди этой скованной темноты и тревожного трепета молний. Она закрыла глаза ладонями, лежала без движения. Под боком постепенно сдвинулась, скомкалась дерюга и давила узловатым концом, но она не поворачивалась. Все тело было налито необычайной усталостью, точно после страдного дня.

В голове же ходуном ходил сегодняшний день такой необыкновенный, такой суматошный.

Вспомнила — не верилось.

Когда Родион немного пришел в себя, и сосед, взяв его под руки, повел куда-то с собой, на Татьянку напали в хате с грозным допросом. Она призналась, зачем позвала соседа. Зная нрав Родиона, она была уверена, что его самодурство под пьяную руку может кончиться плохо. Но она не обращалась к соседу именно за помощью, она только намекнула, позвав его к родителям по какому-то важному делу.

И как ни старалась Татьяна доказать необходимость и целесообразность своего поступка — ее не послушали.

Нашумели, накричали...

Самоуверенный дядя Влас, ссылаясь на свою опытность, твердил, что, в конце концов, все разрешилось бы тихом-ирно. Подрались бы немного, как всегда бывает, и на этом разошлись бы. И Марк не стал бы разглашать о такой истории, где сам замешан, и никто бы не знал.

А теперь могут разнести, раструбить. Теперь Татьянина неосторожность, в самом деле, может наделаться беды. И как она смела, не спросив старших, какое она право имела?

Распущенность! Стыд!

В хате разгорелась новая ссора. Уже донимали Марком. Никак не могли понять, чего, собственно, он приходил, не могли поверить в искренность его просьбы: слишком она казалась им странной, даже обидной. Посмеяться ли хотел, или, в самом деле, с какими-нибудь другими намерениями? Главное же в том, что без согласия и уговора с Татьянкой Марк не решился бы зайти. Значит, она скрывает свои поступки от родителей, противится родительской воле, и все материнские предостережения, запреты для нее ничто?

Распущенность! Стыд!

Гудело, бурлило в хате, как в котле. Власа больше всего раздражала неудавшаяся выпивка и, изливая злость, он возмущенно корил, не переставая бить кулаком по столу. Мать плакала, бегая по избе, ломая руки. Но на этот раз и Татьянка не молчала. На каждое брошенное ей слово она тоже отвечала, она хотела доказать свою правоту, и это еще больше разжигало, обостряло, сгущало ссору. Не утерпев, она, наконец, прямо сказала, что родителям

уже поздно учить ее, что теперь она не хочет и не будет их слушать.

— Что?

В хате на минуту застыла жуткая тишь. И сразу, будто крыша обвалилась, упал иступленный вскрик — Влас занес над ней кулак. А мать, теряя самообладание, лишь коротко прошептала:

— Вон... из хаты...

Татьянка выбежала.

Потом по огородам и берегам мать ходила, звала ее, но Татьяна не откликнулась. И если бы не гроза, она бы лучше переночевала где-нибудь в канаве, на меже, только не в овине.

Мать потом нашла ее, но, хорошо зная ее упрямство, не настаивала, чтобы дочь возвращалась в хату — оставила в покое.

Теперь в темноте проплывали перед Татьянкой картины сегодняшнего дня, и Татьяна, углубляясь, пытливо докапываясь, искала возможного выхода.

Она сегодня два раза подкрадывалась к читальне — очень хотелось послушать, посмотреть, что там делается, хотелось переброситься словом с Марком. И оба раза возле самой двери сталкивалась с Родионом, который грозил силой отвести ее домой. Затем поджидала Марка на плотине (хотя и не верила, что придет), да разминулась, не успела избежать ссоры.

Но именно все происшедшее помогало ей сейчас понять собственные ошибки, раздвигало границы возможностей, настойчиво требовало тем или иным путем развязать узел. Сегодняшнее появление Марка доказывало ей, что Марк не шутя говорил о заводе, что ему нельзя не верить.

И ясно вставал перед ней недавний разговор в саду.
— Рви! — шепнуло над ухом.

Рви!.. Рви!.. подтвердило со двора, глухим шелестом падая в лопухи.

Вспыхнула молния, и над крышей порывисто со свистом промчался ветер.

— Рви!

Татьянке вдруг показалось, что кто-то топчется у ворот и трогает засов. Она поднялась, но новый порыв сумасшедшего ветра схватил в горсть все другие звуки и, скомкавши, бросил их на соседскую железную крышу — там уже в бешеных объятиях пискливо ойкал, хохотал, стонал надорванный лист. Порыв утих — и опять Татьянке послышалась та же возня.

Не по себе стало: свой или чужой?

— Кто там? — крикнула в темень.

— Отвори, — пробубнил голос Родиона.

Жестким холодком обдало — вздрогнула.

— Отвори, слышишь?

А из дальнего-далека уже катился грозный гул... Ближе и ближе... На миг притих и вдруг с размаху бухнулся над самой головой, разбился, рассыпался в грохочущем шуме...

Татьянка упала ниц. Не помнила, сколько прошло времени.

Тешилась, танцевала разгульная буря, озорный ветер прокрадывался в щели, и хлопал в ладоши, и свистел под стропилами, а вокруг шелестело, чавкало, лило струями...

И надо всем стремительная, как буря, гнетущая мысль: Родион теперь даст себе волю, теперь ему бояться нечего, он ни на что не будет обращать

внимания. До сих пор он только намекал, что заглянет ночью, сегодня же явился впервые.

Двери распахнулись. Ветер подхватил створку и, рассерженный, что не может сорвать с петель, грохнул ею об стену.

Тогда Татьяна, как ужаленная, вскочила на ноги. На фоне болезненно-яркой молнии она заметила по эту сторону порога высокую, темную фигуру, старательно ловившую обе створки и пытавшуюся опять задвинуть их засовом. Татьяна прыгнула в угол, притаилась за кучей прошлогодней залежалой трухи и оттуда при вспышках молний следила за Родионом.

Вот он поднял руки, точно крылья, ища равновесия... — и исчез.

Теперь — согнувшись, неуклюжий, страшный, как убийца... и темень.

И уже на коленях подле дерюги...

Он догадался. Он ослепью кинулся по стенам, а Татьяна еще глубже зарылась в солому.

— Да где же ты? Отзовись! — звал встревоженно, ощупывая каждую щель.

В тесном, бедном овине, где в одном углу маленькая копна сена, а в другом — куча старой соломы, спрятаться было трудно. Уже несколько раз Родион проскользнул мимо нее и лишь случайно не наткнулся. Еще минута — непременно заметит.

Она осторожно выползла, начала прокрадываться к дверям, и как раз в этот миг, словно хищник на добычу, прыгнул на нее Родион.

— У-гух, ты!..

Но она во время присела, выскользнула из его рук, метнулась в сторону.

Начался поединок.

— Все равно... Все равно ж поймаю, — грозил он упрямо.

И бегали, падали, дергали друг друга, засыпали лица соломой, гневно перекликивались, пока Татьяна, обессиленная, перепуганная, не упала пластом.

— Ой, зельечко... — простонал запыхавшийся Родион, сжимая ее в крепких, мокрых объятиях, — чего ты пря... Чего убегала?

— Боялась... Думала, чужие, — чуть слышно прошептала Татьяна.

— Врешь! За соседа боялась...

От него пахло крепким самогонным перегаром. Умолк было — хотел отдышаться, сплевывал, но рук не отпускал. Потом начал бормотать под нос невнятную брань. Должно быть, не совсем еще протрезвился, потому что путал имена, с трудом выдавливал непослушным языком тягучие, вздорные слова.

— А здорово я его? А? — прижался тяжелым мешком, ощупью ища лицо Татьяны.

— Кого?

— Да Марка же... Теперь довольно! Закается...

— Ой, закается, — поддакнула Татьяна, — а я за тебя так боялась...

— Ну, и лгунья!.. Боялась... А зачем соседа звала?

— Я не звала, Родиончик, право же, не звала.

— Врешь... Ну, да все равно.

Крепче прижал к себе горячее, гибкое тело. Дышал порывисто и перебегал трепетными пальцами, грубо, до боли загребая ими, щекотно ощупывая Татьянкину грудь.

Она сопротивлялась, дрожала. Когда же вспыхивали молнии, невольно порывалась в его сторону. В голове глухо гудели сотни наковален, а вокруг был угар, сладкий, душный угар...

— Не трогай, Родиончик, я тебя очень прошу... Не трогай, голубчик... Вот как поженимся, тогда уже...

— А поженимся? Теперь пойдешь?

— Пойду... Ей-бо, пойду.

Родион немного успокаивался и начинал вслух мечтать об их совместной жизни. Воодушевлялся, говорил, что оденет ее лучше всех девушек, будет любить, как никто еще никого не любил. И пусть попробует кто-нибудь близко подойти или затронуть — убьет на месте! Все село будет завидовать.

А Татьяна, слушая, со всем соглашалась, лишь бы успокоить, лишь бы избежать насилия. Втайне снова думала о семейном счастье, о широкой воле, и единственное наибольшее, чего хотела, — это, чтобы ночь промелькнула мгновением, чтобы скорее рассвет.

— Родиончик... Я же прошу тебя, мой голубчик... Не трогай... пусти... подожди немного...

Родион отпускал руки, злобно скрежетал и тыкался жадными, запекшимися губами в ее щеки.

Но теперь, когда прокатились в крови первые огневые волны, когда усталость поборола кровь, — теперь каждое его прикосновение не только не волновало, но казалось отвратительно-липким. И то, что доселе в нем непонятной силой притягивало и пугало Татьянку, что вызывало любопытство и дразнило, теперь, нашумев через край, оставило после себя открытое дно, обнажило всю суть желаний и помыслов Родиона.

Еще сегодня, когда бушевавшего Родиона тащили в погреб, она пожалела его, так искренно пожалела, что чуть не проговорила перед Марком. Была еще какая-то тоненькая, нежная ниточка, неизвестно когда и как вытканная.

Теперь оборвалась...

Долго и неотступно мучил ее Родион. Умолял, просил, божился. Золотые горы обещал и пугал своим отчаяньем. Наконец, не обращая внимания на слезы и сопротивление, силой сгреб ее под себя.

Татьянка заверещала.

— Тише, глупая!.. А то глотку заткну...

— Родиончик... родненький, — и, поймав его руку, припала к ней поцелуем, — ну, я тебя прошу... Ну, ты же человек, а не зверь... Ну, видишь...

— Вот, чорт! — сердито встряхнул ее и, колеблясь, отодвинулся в сторону, — вот чорт...

Больше он не подступал.

Всю ночь вспыхивали трепетные молнии, словно быстрые причудливые птицы, всю ночь бесился гром и шумел ливень.

А Татьяна лежала в тупом забытьи и не знала, долго ли захлебывался под стропилами ветер, где и почему журчали певучие ручейки, не знала, сон ли, явь ли...

... Очнулась — вокруг была тишина, серая равнодушная тишина. Родион спал, свернув на бок голову, тяжело дыша, и раскрытый рот его казался черной раной.

Тихонько, ползком выбралась Татьяна на двор. Над селом чуть начинало светать. Еще сумрак не рассеялся, село упивалось крепким предрассветным сном,

а вверху на полинялом небе устало тянулись последние обрывки туч.

Ледяная капля с крыши кольнула щеку. Захотелось пить — еще с ночи мучила жажда. Можно было постучаться в хату и набрать воды из кадки. Но она взяла с плетня забытый горшочек и пошла росистым огородом к берегу.

После бури все было каким-то иным, нескладным, измученным, точно после страшного боя, и невольно останавливало на себе взгляд. С соседской крыши свесился почти до окон кусок железа. Длинная жердь, торчавшая еще вчера над сараем, сломалась пополам и не было на ней пугала-галки. Вот — прибитые ливнем грядки, которые придется наново опушивать, а старательно прополотую рассаду так занесло илом, что и не узнать...

В небольшой сажалке, из которой Татьяна хотела напиться, вода выступала через край и была густомутная, почти сизая. Тогда сорвала листочек вербы и, положив его в рот, вялым полусонным взглядом окинула горизонт. На горе обмокшей отарой жалось село. С другой стороны, за мостками колыхались овраги и слегка дымили, словно кто-то разводил на дне их костры.

Скоро петухи ударят свой громкий призыв — и закопошится день. Проснется село. Проснется Родион. Что же тогда? Что будет завтра, послезавтра, через неделю?

Татьяна ступила на мостки.

В отяжелевшей голове лениво шевелились обрывки мыслей: где-то был Родион, а где-то лежали прибитые ливнем грядки, которые непременно надо

перекопать, а навстречу вырастали крутые вершины, без конца разматывая скользкую тропинку, маня все дальше и дальше в свою чащу.

И Татьяна шла. С пригорка на пригорок, не спеша, не оглядываясь, долго шла, как во сне...

Остановил ее неожиданный певучий шум и ослепительный блеск золота, что быстро текло, растекалось, затапливало все вокруг, даже капало излишками с верхушек. Она изумленно застыла на месте, оглянувшись, не сразу поняв. И тут только заметила, что у нее в руках серенький забытый горшочек. Повернула его вверх дном, подумала и вдруг с размаху такхватила о-земь, что он рассыпался мелкими черепками.

А сама скорее вперед — по тропинке на Багучаны.

Цепляясь за пни, сползая по скользким отрогам, без передышки бежала она и пугливо оглядывалась: теперь ей все казалось, что сзади приближается страшная погоня. Сердце замирало и вновь с еще большим напряжением рвалось из груди, а она, не останавливаясь, бежала дальше.

Во рту пересохло. Припала на минутку к луже, готовая высосать из нее всю воду и, глотнув, опять спешила — вперед, вперед!

Уже расползлись последние тучи, солнце уходило в голубые звонкие степи. До большой дороги, лежавшей за оврагами, уже было недалеко — только перебраться через одну ложбинку. И когда Татьяна взбежала на холм и оглянулась, она увидела, что с противоположного пригорка, размахивая руками, бешенно мчится Родион.

Остановилась было — и сразу опрометью бросилась в кусты. Гибкие ветви плетью ударили по лицу, ноги

разбивались о хворост и грузли в прогнивших, мягких, как пакля, листьях. Роса забрызгала всю одежду, рубаха липла к телу.

Но хуже всего этот предательский шум, который мог помочь Родиону. Упасть, притаиться — все-равно найдет. Нет, лучше на большак. Там не так страшно. Там близко околица. Может, встретится кто-нибудь чужой...

Скорее к большаку!

И опять повернула на тропинку. А сзади уже слышен был топот погони, и каждый звук отзывался в ушах Татьянки настойчиво-отрывистым эхом:

Убьет!.. Убьет!.. Убьет!..

Напрягая последние силы, она скользнула через ров и выскочила на дорогу.

— Стой! — забежал спереди Родион.

Весь нараспашку. Бледный. Без шапки. Голова всклокоченная. На глаза свисал мокрый клочок волос. Глаза стали зеленые, впивались едкими жалами.

— Ты... куда?..

Татьянка замерла.

— Куда ты?.. К нему?.. — шагнул ближе и толкнул локтем в бок: — Сейчас же домой! Ну!

Татьянка низко склонила голову, но не тронулась с места.

— Ну! Не пойдешь?.. Не пойдешь?.. Ух, гадина! — размахнулся, не сдержал кулак.

Лес пошатнулся... Трава поплыла под ногами мягкая-нежная, словно трясина, и Татьяна потеряла равновесие. Когда же пришла в себя и поднялась, воздух был полон шума — из околицы, гремя колесами, выезжали в поле подводы.

Она больше не взглянула на Родиона. Медленно обтерлась рукавом и двинулась снова вперед, навстречу подводам, навстречу хатам, усмехавшимся из-за деревьев добродушно-приветливо.

— Татьяна-а-а!.. — с бессильной злобой заревело на опушке.

Она шла. Она теперь не спешила. Она постепенно уплывала, дальше и дальше...

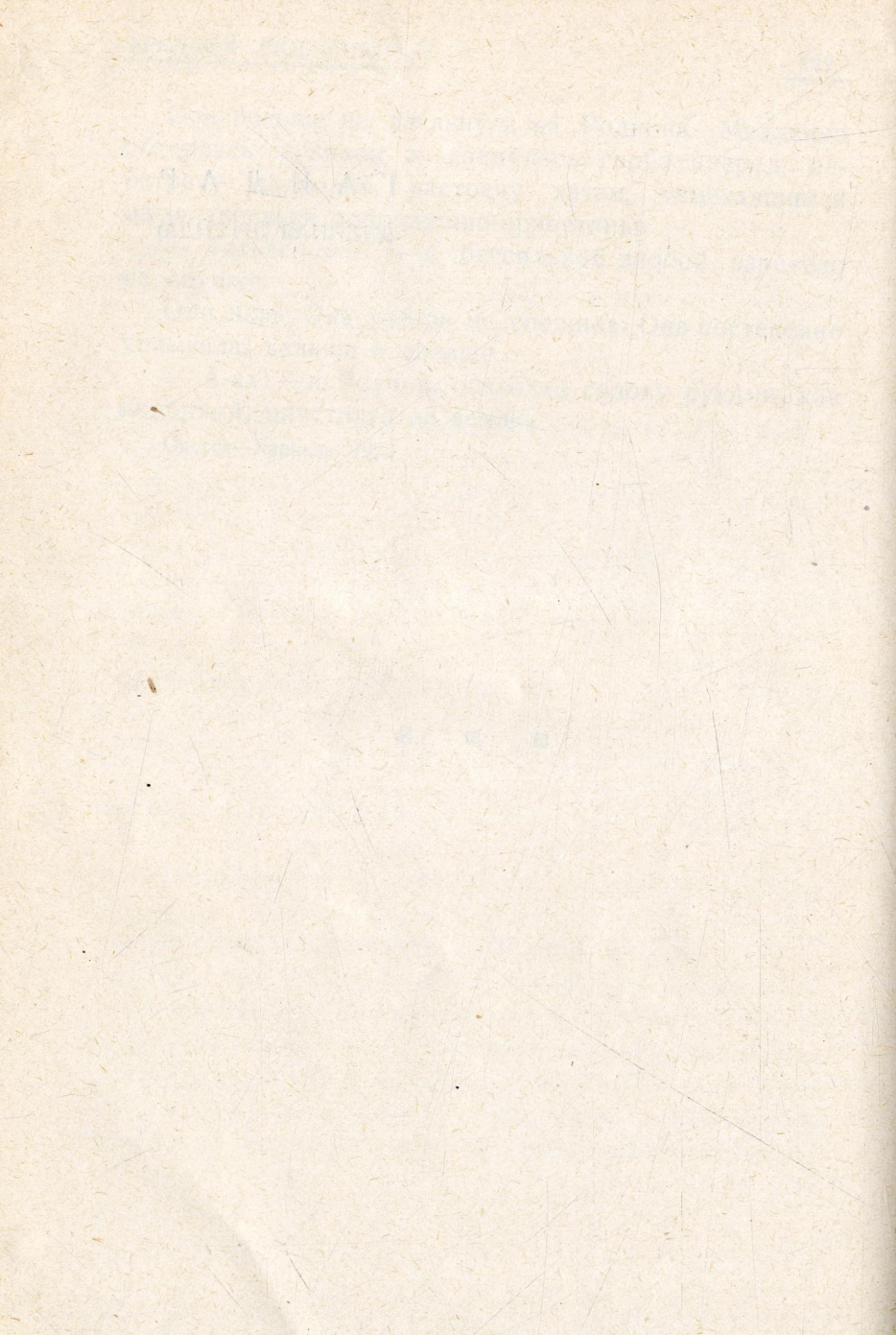
— А-ах! — и Родион, обхватив голову руками, как подбитый, опустился на землю.

Одесса—Харьков, 1925



Г А Й Д А Р

(СТЕПНАЯ ЛЕГЕНДА)



I

Солнцевеем вздымало молодую грудь, наливало жилы смолой пьяною, — ой, уплывали в синь ковыль-просторы без конца, без края.

В пряных запахах тонули дни, падали в неведомое грева, и цвет росистый по степи от сумерек и до пригрева, — ой, уплывали в синь ковыль-просторы без конца, без края...

Пробежали росами дикогривые кони, а за ними стоголосно орды людские — запыхали огнища, пыль угарная взвилась над степью.

... Все небо в пламени. А он на пламя скалил зубы и в трепетном хмелю давил рукой сочные листья. Крепким соком тело натирал и нюхал кожу — ему был ведом запах солнца.

Так жил в степных просторах смуглый Вар.

Зашелестит ковыль — уж зорким хищником припал, распознает:

заяц?

а, может быть, лиса?

Вмиг на коня, свистит погоня!

Ветер молодцу прямо в грудь: стой!

— Стой! — и размахнется по ветровым космам.

— О-ой! — аукнется с дальних оврагов — о-ой! — смеется удалец.

Вдруг грохнет гневный Громодар и ярким лезвищем располосует небо; в испуге гайдары падут ничком, а он, как безумный, несется вдаль, несется, подставляя ветру открытую грудь — на!

Так вырастал в просторах смуглый Вар.

II

В зеленом море стада и табуны, что гребни волн. А за ними: гей-да-гей! За ними гайдаров-невольников дозор.

Они бы рады прочь, да вон шатры: зловещий свист нагаек. Там ненавистный князь в кругу красавиц пьет, все пьет вино, и захмелевшая дружина боевая у ног его подбосграстно рассыпает смех.

И думал Вар: неужто без князей не можем?

Волна зеленая подхватит, понесет — о-о-й! — туманны дали.

Неужто мы не можем?

Зацветала земля потом, в неведомое падала ночь.

И снова до рассвета из княжеских шатров тревожный крик — и никли травы долу, метались в страхе табуны.

Неужто мы не можем?

III

Налило жилы пьяной смолой — заискрилось, взыграло к семнадцатой весне.

Обняв руками землю, ждал гайдар синеокою гайдарку.

Она уж близко. Она приветно улыбалась, но в то же время косилась на шатры.

— Лоан! Я жду! Лоан!

— Тихонько шла, сторожко озиралась.

— Я жду!

Кумыс ударил к сердцу — схватил ее на руки Вар и мчался вихрем, пока не застонал, упал в истоме...

— Вар... Вар...

... ах, как медово на зубах, как густо пахли косы...

IV

На побережьи янтари голомши¹, а в бирюзу глядится бело-городище.

Продавали Вара на чужбину за перстень золотой.

Так буйногривый недотрога поводит диким глазом — дрожит, молчит и ждет.

А где-то пьяно пахли травы, медово пахли косы...

Что?

Нет!

Раз-раз! — рванул, разбил, кого-то в грудь, кому-то вдруг лицо песком засыпал.

— О-ой! — взволнованно голомша — о-ой! — стрелю в степь.

И лишь когда обратно шло кочевье, поймали Вара.

— Так ты бежать?

...Горели долго раны — зализывал, землю засыпал и скалил вверх на пламя зубы.

А зажили — не тот стал юноша, как будто муть легла: засторонился, затаился, и взгляд к земле прикован.

Когда же гайдары роптали на судьбу, когда бородачи, волнуясь, прозревали, а молодежь кипела гневом, — вскипал грозою Вар.

— Зачем нам князь и вся его дружина? Зачем?

Тогда брови, что крылья коршуна.

— Зачем?

¹ Пшеница у скифов.

V

Не туча вставала низко над степью, не дикий табун копытно разметался, то во тьме ночной хищником крались сарматы.

На рассвете тонко прозвенела стрела.

Поднялся в таборе тревожный гул, да поздно: враг уже свершил свое дело, враг исчезал в тумане.

Что же гайдары так крепко спали, ворога к станowiщу подпустили, добра княжьего не уберегли?

— Плетей!

И рассыпалось змеиным свистом, раскатилось жутью по степи...

Где споткнулся, где упал, там уже клочья—не тело.

Где споткнулся, где упал...

До вечера воплем вздрагивала синь, до поздней ночи нырял Вар по травам — протяжно, удушливо стонала ночь.

Упал окровавленный под каменным капищем.

— Ты видишь? Ты слышишь?

И плюнул богу в мертвые очи.

— Ты!

VI

Князь приказал собираться в поход.

Лютым роем завихрило, звоном, скрежетом завывало — потекло солнце на секиры, копыта.

А вино — рекой. И, захлебываясь, горланила боевая дружина, похвалялась разбить сарматов.

Но лишь настала ночь — Вар смело к гайдарам:

— Бежим! Для чего нам поход? Бежим!

— Куда?

— Да мало ль нам места? Будем жить одни, без князей!

Ответили молчаливым взглядом на шатры.

— Так идем на них! Они, ведь, пьяны, а нас больше. Пойдем, перебьем!

Шумно разбежался клич, вспышками из уст в уста.

— Я с тобой! — подскочила Лоан, взмахнула ножом. Загорелись сердца, но толпа раздвоилась:

— Не время. Подождать еще надо.

— Нет, идем! Уж и так мы заждались!

Разделился, замутил густой муравейник — неумным ветром гул взметнуло, долгий гул...

— У-лю-лю! — вдруг ударили сполох шатры.

Дрогнул муравейник, ползком ушел в ковыль.

— Эй, куда вы, трусы?

Ползком ушел в ковыль...

...А шатры уже слали предгрозые.

— Ну, помните ж!

Подхватил на коня синеокую — о-ой! — слепо кинулся вдаль.

В догонку только визг, только хищный свист арканов.

VII

— Вот вы какие... — прищурился князь, когда привели к нему беглецов.

Долго стояло молчанье, и остро вливались глаза князя в Лоан.

— Хороша... — сказал, наконец, — впервые вижу такую красавицу. А чтобы снова она не бежала, киньте в мой шатер.

Стебельком подрезанным упала, к сапогам припала:

— Все, что хочешь, все, что скажешь, только его пощади. Я виновна, я...

— Довольно! — толкнул ее в грудь и к Вару:

— А ты завтра пойдешь в поход. И если ты, действительно, так отважен и если хочешь жить, принеси мне из битвы сто сарматских голов.

VIII

Топтала ковыль тяжелая рать — степь молчала.

Падали ночи, вставали дни, а степь - красавица предательски молчала.

— Отведаешь, князь, моей отваги! — нетерпеливой мыслью взлетал Вар.

Падали ночи...

Как вдруг зацвела даль черным цветом.

Ой, тревожно стонал сарматский бубен, а на заре в беспмятстве проснулась степь.

Не Громодар метнул огниво, рассыпая страшный грохот, не ураган погнал охапки туч, заслоняя солнце и завывая, — смертным побоищем столкнулись в степи два неумолимых зверя.

Ринулся табун на табун... кровью задымили травы.

— Отведаешь, князь, моей отваги! — и вихрем ворвался в самую гущу.

Вот уже из-под самых княжеских рук дробит он вражьи головы, вот — размахнется... промахнется сгоряча неосторожный молодец и всадит секиру в княжеские плечи.

Но ловко отбивают его руку верные дружинники — никак не попасть.

...Стянулись сарматы, нажали тесной толпой — дрогнуло войско князя.

Тогда махнул князь берлом¹: вмиг привязали к быстрому коню новую наложницу, Лоан синеокою, взбодрили копьём коня, пустили его на сарматов.

Тучей двинул на всадника враг и, словно вороны, кинулась дружина вперед с новой отвагой.

Очертя голову, кинулся и Вар — только свист застрял в ушах, только хрюскали кости под ударами.

IX

Спустились сумерки — тогда лишь побежали сарматы, покрывая долину трупами.

Еще долго вздыхала долина, упивалась вволюшку безумная месть.

— А где тот юноша, что в бою заградил мне дорогу падалью сарматской? — молвил князь.

Привели Вара.

— На вот, пей из моего рога. Твоя отвага, вправду, велика.

— Да, властелин, но ловкость изменяет. Я не могу вина из рук твоих принять, еще не заслужил. Вот заслужу, тогда позволь.

— О, я вижу, ты слуга примерный. Что ж, коли так, отныне будешь моим оруженосцем.

И бросил ему перстень со своей руки.

X

В пряных запахах тонули дни, падали в неведомое ночи, и цвет росистый по степи от сумерек и до пригрева, — ой, уплывали в синь ковыль-просторы без конца, без края...

¹ Род скипетра.

А там попрежнему: все гей да гей!..

И свист плетей, и ропот, и тоска...

— Ждите, но только не зевать,— украдкой ободрял оруженосец,— теперь я с вами до конца. Но только не зевать.

Ему в ответ презренье. Ведь, знали все, какой почет ему в шатрах, как хвалит юношу дружина.

— Болтай, болтай!.. Когда за перстень продавали, ты дрогнул, испугался, теперь за перстень сам проданся.

Гневно вспыхивал Вар, но уж слова, что вялый лист, кружащийся по ветру... И шел понуро...

...На волчьих шкурах князь ласкал синеокую гайдарку, а он тихонько голову склонял, он заползал в ковиль и в исступленьи ножом кромсал на клочья землю.

— Вот подождите! — рвалось сердце скорбью,— теперь не убегу, теперь я до конца...

XI

Была ночь — не пахли медом травы, пахли шатры кумысом, вином и потом.

Над чадным огнищем запойный гул. Обнимали юношу в разгуле, челомкались липко.

— У нашего князя этот слуга, что пес.

И беспамятно валились, засыпали.

— Не дремли, милый,— вспорхнул над ухом жаркий шопот.

С растрепанной косой ползла Лоан:

— Он из шатра сегодня и меня прогнал. Он, наконец, сегодня сам. Иди!

Вскочил, пошел.

(...лишь где-то охнула секира и в черепае застряла вечным сном...)

А вышел, зашатался, словно пьяный.

(...метались где-то кони, ржала ночь...)

И долго еще кропили кумысом костер, и заливался юноша хмельным, счастливым смехом...

XII

Поутру брызнуло солнце воплем:— Князь убит!

Звякнуло, сверкнуло в становище жутью, но кто знал?

— Князь убит!— стоном колыхало просторы.

...А уже любимых князем слугу и девушку схватили, связали, уже весь табор поспешно сгоняли, в погребальный путь снаряжали.

И поплыла степью туга...

Падали в тугу ночи, сгорали в солнцевее дни.

Древний дед на рассветах метил зарубками посох. Три десятка отметил— тогда лишь утихло скрипенье возов, обвил могилу вой плакальщиц.

Глубокую могилу копали в степи, чтобы никто не нарушил покоя ни грозного князя, ни его любимых— синеокой Лоан и отважного Вара.

Только гайдары, засыпая могилу, хорошо знали, кого хоронят, и молча давали великую клятву.

* * *

Табунами разбежались дни, разбрелись века в седом раздумьи, а в степях, воспетых победными гудками, до сих пор стоит могила.

Промчит быстрокрылый над ней, игриво заденет лопух... лопух не успел поклониться, а он уже вдали расчесывает рожь...

Харьков, 1925.



VIA DOLOROSA

Дни прозрачны, как слеза, последние дни полногрудой синевы и трепетных кленов, а по утрам на опавшей листве в садах зацветает серебристый иней.

В садах, в легкой сарабанде — топазы, янтарь, пламя.

И хочется выпить небо, хочется презирать всех, кто неуклюже, медлительно плетется по панели, хочется преувеличенно размахивать руками, нарочно толкаться, или, набрав полные карманы пылающих листьев, шаловливо, будто на карнавале, осыпать встречных. Хочется, вспомнив детство, кубарем покатиться в степь...

Но дни — не мои. Они падают в котел густой кипени. Деловой вихрь подхватывает, мчит. Они — мгновения. Неуловимы.

И лишь иногда приходят сумерки. Мои. Те особые, осенние сумерки, когда бодрость и бронза.

— Куда бы сегодня?

Я повернул к парку. Как всегда, я отдал энергию дню. Крепкий воздух пьянил и, побродив среди аллей, я с приятной легкой усталостью сел на скамью, вблизи ворот.

Здесь развернулась прекрасная панорама. С крутого склона горы было видно, как побежденно склонялся день — вдали над взъерошенной копной труб

опрокинулся ущербленный чугунок, выплеснул расплавленную гущу, и она лениво текла вдоль горизонта. На широком днище — узор нескольких кварталов. Быстрые ленты улиц. Вокзал с маленькими, словно детские игрушки, паровозами и вагонами. Четкое ожерелье сигнальных фонарей. И бежали ниточки рельс далеко-далеко, в волнующую, манящую даль, вечно девственную, вечно ждущую новых неведомых смельчаков...

Внизу — неутомимая суетливость города. Там сновала подвижная, шумная мошкara, а над нею взвизгивали сирены и мужественно перекликались издали паровозы, как бы подбодряя, подгоняя: скорее! скорее!

Я долго не мог оторвать глаза, сковно впервые увидел, и у меня щекочуще сжималось сердце. Я вспомнил тогда моего приятеля, пылкого юношу и немного романтика:

— Жизнь! В ней столько убеждающей силы и полноты, что трудно позволить себе равнодушие или слабость.

И я пожалел, что друг мой сейчас на вечерних курсах.

В нескольких шагах от меня темным силуэтом виднелся менестрель отошедшего века и тоже пристально всматривался вдаль, но он был так печален, суров, будто маска японского Но. Кругом покой — только с трепетных, как лампы, красавцев кленов капало и капало расплавленное золото. Своеобразная красота: какая-то торжественность в падении листьев, старческая мудрость в задумчивости деревьев.

День угасал, и верхушки парка становились легкими, как бы взлетали ввысь. Из чащи осторожно

надвигались сумерки, и мягко обволакивали своей паутиной человеческие фигуры, увязавшие в бронзе листвы. Один только запоздалый луч еще бродил среди аллей, ища где бы протянуть утомленные руки. Наконец, он лег поперек дорожки, припав к одинокой, одетой в черное, женской фигуре, сидевшей напротив, немного в стороне. Последним усилием он зажег ее рыжие кудряшки. А, быть может, женщина сама потянулась к нему с жадной хотя поздней, но чистой ласки. Подставив щеку лучу, она смотрела в сторону — там, в фантастической полумгле, словноobeliski Салманассара, застывали высокие колонны ворот.

Мне казалось, женщина опечалена. И мне чудилось, что я понимаю ее — быть может, неясно, но все же правдиво, как понимаю музыку города, задумчивость деревьев, полноту жизни в ее больших и малых контрастах.

Когда луч погас, лицо с рыжими кудряшками на висках стало восковым. Лишь алеl, будто ранка, тонко очерченный разрез губ, а глаза прятались в тень, под крыло шляпы.

Она достала папиросу, размяла табак и... замерла в беспомощном движении. Через минуту, увидев подле меня папиросный дым, она поднялась. Я догадался. Но меня опередил другой, высокий, ловкий, неожиданно вынырнувший на дорожке и поклонившийся с деланной вежливостью.

Он был нерешителен. Она засмеялась. Где-то закричала сирена, словно раненый зверь, и над парком промчался ранний смарагдовый метеор.

Тогда они встали и медленно (он — оглядываясь, она — опуcтив задумчиво голову) пошли в сумеречную

глубину. Проходя мимо меня, женщина как бы равнодушно подбоченилась, слегка усмехнулась — только игриво зазмеился кармин губ...

— Что?..

Я остро впился глазами в эту фигуру, я крикнул глазами.

Оглянулась.

Нет. Сразу и решительно я убедился — нет.

У той были черные, как ноябрьская ночь, волосы; черты были тоньше и мягче. Та была меньше и стройнее. Это — только усмешка, только рефлекс. Та, настоящая, — она далека, как сон... Далека, как вечернее воспоминание, когда в мягких объятиях усталости, в объятиях тишины, в кружеве прихотливых арабесок — и минувшая борьба и минувшая юность. Да, это рефлекс, острый, неожиданный.

И вот из глубины парка, сквозь папиросный дым — та, далекая, на старой, увитой плющем веранде. Целомудренная, с медлительными движениями, она выходит в белом платье и, устало глянув по сторонам, опускается в лонгшез. На коленях у нее раскрытая книга, но она лениво изящными пальчиками переворачивает страницы, жмурит глаза. Потом, зевнувши, кривит в улыбке уголки губ и тянет мелодичным, словно у ребенка, речитативом:

— Пара... Je m'ennuie...¹

— О, mon Dieu!.. Бедная девочка... Но почему, почему?

У нее хорошенький песик, с пышным бантом на шее, цвета d'orange, преданная ловкая левретка, забавно

¹ Мне скучно.

подпрыгивающая или дремлющая у ног на своей вышитой подушке. Левретку можно посадить с собою за стол, кормить из своего блюдечка или бросить с веранды, как мяч, и смеяться над неудачным сальто. Многое можно! Можно взять фиакр, блестящий на солнце, можно оседлать Stell'у и, упиваясь кристальным воздухом степей, мчаться в дубняк,— грибы, земляника, ежевика, дурманящий запах цветов и трав... Или— на луга, где свежи еще потные покосы и где надрывный стон оттачиваемых кос, или на вспаханные плантации, где остерегающий крик надсмотрщика и музыка сотен напряженных мускулов.

— Je m'ennuie...

Можно на реку — купальня, лодка, крепкий запах татарского зелья, гибкий тростник в gobеленах заводов и темно-манящая глубина. Можно к соседям: вежливые, внимательные юноши (теннис, крокет), маникюрные, изысканные слова и закрахмаленные, изысканные движения, волнующие своей двусмысленностью — острым намеком и слащавым привкусом:

— Je m'ennuie... Je m'ennuie... — изгибаются уголки губ.

— Но, Сюзен... Тебе после города нужно поправляться.

— Je m'ennuie...

Это слово врезалось мне в память, но тогда я не знал, что оно означает — только догадывался. В то время мне поручили водовозную задерганную клячу, и я ежедневно ловил это слово, копаясь возле куртин и газонов.

Вот — без шапки, загорелый, в подвернутых штанах, я подъезжаю на бочке. Между работой я слышу

одно и то же, неизменное, настойчивое. Потом слышу, что Сюзен остается одна — она так хочет. Тихо. С любопытством я украдкой поднимаю голову и вижу направленный прямо на меня бинокль.

(Кого хотели внимательно рассмотреть: наивного пейзажа из собственных буколик, или необыкновенного представителя породы двуногих?)

Я смущенно и поспешно отворачиваюсь. Сюзен смеется. Сюзен говорит, что бинокли не стреляют, и просит снова показать лицо. Когда же просьба не помогает, она переходит к угрозам. Мое упорство ее раздражает и интересует. Она кричит. И вдруг мне в голову летит дорогой в инкрустациях бинокль. Хватаю, замахиваюсь и... сдерживаюсь — мне нравится эта таинственная, блестящая вещичка.

— Ха-ха-ха! — звенит Сюзен, — ты лучше посмотри в него. Крути и смотри. Смотри на меня. Ха-ха!

Из комнат суетливо выходит он, густобородый, с сединой. Удивление и радость.

— Рара! Ах, как смешно! Как смешно!

Он что-то бормочет на непонятном языке, он долго раскатисто хохочет, а я, пересиливая обиду, медленно прячу бинокль за пазуху.

— ?!

Сюзен заливается еще более звонким, счастливым смехом. Затем она требует возвратить ей вещь, но я онемел, оглох. Она бежит, она тормозит меня. Я неподвижен. Я чувствую, что если и выйму эту изящную, хорошенькую вещичку, то швырну ее наземь. И я смотрю в упор на Сюзен — на ее лице сразу отражается сила моей ярости. Притихла. Настороженно отступила.

— Эй, ты!.. — угрожающе долетает с веранды, но Сюзен бросается к нему и зажимает рот.

Я спокойно кончаю работу, привычным движением дергаю клячу за повод.

Тебя, гнедая, облезлая кляча, давно растаскали собаки из оврага, но ни твоя бесславная смерть, ни твоя мерзкая жизнь не помешали тебе стать персонажем в этой благородной комедии. Ты неизменно и послушно каждый день появлялась перед верандой. Je m'en souviens, — и ты была свидетелем, как мелодичный голос каждый раз спрашивал о бинокле, как смешно разговаривали, как наивно улаживались, как, наконец, было приказано притти ночью к куртинам, когда заиграет рояль. О, если бы старость не совсем иссушила в тебе чувство романтики, ты, вероятно, поняла бы, почему тебя, задерганную и грязную, приласкали тогда нежные ручки по холке. Но ты из традиционной вежливости только машинально махнула хвостом.

...Я лежу в темноте под куполом трех ветвистых лип. Над цветами, над травами, надо мною колышется чья-то печаль. Звуки — сперва несмелые, отрывистые, потом быстрые, жгучие. Они обгоняют друг друга, словно торопятся рассказать о чем-то тревожном. Иногда с надеждой улыбаются. Но близятся другие, грозные, сильные. И вот — борьба. Бегут, бегут, пока, вскрикнув в болезненном порыве, обессиленно не падают под стон густых, неумолимых басов...

Je m'en souviens... вероятно, сейчас подпевает Сюзен, потому что так безвыходно, тоскливо...

Я начинаю нетерпеливо озираться. Мне интересно, что будет дальше, но нужно спешить к Ореховой долине: сегодня Купала и там гулянье.

— Ах! — слегка отшатывается Сюзен, когда я выхожу к ней навстречу. Минуту мы молчим в глубоком напряжении.

— Так... — решаюсь я и снова умолкаю.

— Тебе нравится?

— Что?

— Как я играю?

— Да.

— Это мое любимое. Это — „Осенняя песнь“ Чайковского.

И вдруг она смеется, исподтишка, украдкой смеется.

— Ты, ведь, все равно не знаешь Чайковского... Хи-хи-хи... А я тебе говорю... Ты, ведь, и бинокля не знаешь... Хи-хи-хи...

Слушаю, будто в тумане. Ни слова. Потом поднимаю с земли бинокль (я придумал это еще днем) и подаю его владелице.

— Зачем?

— Не надо. Я пошутил.

Сюзен пожимает плечами, нерешительно протягивает руку. Я жду, что теперь она мне скажет „извини“, но она опускает голову и смеется так необычно, не то обиженно, не то растерянно, смеется исподтишка.

— Так... — опять бросаю я, пытаюсь уйти.

— Куда ты?

— На Купала.

Через несколько шагов Сюзен перебегает дорогу.

— Подожди... И я с тобой.

Ореховая долина. Костер. Опушка за садом вздрагивает, стонет от смеха и песен. Еще издали — мечущиеся фигуры на фоне огня, как дикарская орда.

— Ау!

Наш неожиданный приход производит впечатление: в трепетных извивах падает оборванная песня, падает смех. Нужно развеять это замешательство, и я с разбойничьим выкриком перелетаю через костер. Я подпрыгиваю, кричу, размахиваю руками, и, когда ко мне один за другим присоединяются такие же сорвиголовы, а над лесом снова несется песня,—я пьянею. В пьяном порыве я подбегаю к Сюзен, хочу ввести ее в танец, но она пугливо дрожит, и на губах у нее пробегает та же странная, игривая усмешка.

— Тут сыро... Проводи меня домой...

Я должен. Я удивлен, возмущен, но должен.

Идем.

По дороге, где начинается взъерошенный кустарник, Сюзен порывается бежать и падает.

— Ну...—как-то протяжно и глухо говорит она, когда я склоняюсь над ней, чтобы помочь, и обнимает меня.

Удивленно и неловко молчу.

— Ну!..

...Гнедая кляча, всегда такая равнодушная, послушная, даже ты подозрительно мигнула и прижала уши, когда на другой день пухлые ручки тихонько всунули мне три рубля, а тебя потрепали по морде. Кто из нас получил больше? Но ты, вероятно, не ожидала, что теперь я навсегда покину тебя.

Зеленая бумажка еще несколько дней жжет мне пальцы, камнем оттягивает карман, но искушение слишком велико...

А девушка в белоснежном платье, с выражением безмятежным, ласковым лежит в лонгшезе.

— Je m'ennuie...—кривая усмешка пробегает по губам. Глаза устало жмурятся, и изящные пальчики лениво раскрывают книжку. Девушка вдруг раздраженно толкает левретку.

— Monsieur...

Я слышу протяжный шелест—плющ над верандой, или опавшая листва, Я вижу мягкие контуры деревьев.

— Monsieur!..

Я очнулся. Незаметно надвинулись сумерки, и менестрель отошедшего века колыхался, таял, как эфемерный призрак в своей эфемерной стихии. Но я сразу узнал возле себя ту же, одетую в черное, женскую фигуру.

— Monsieur, у вас, кажется, есть спички?

Я отыскал коробку.

— А, может быть, у вас и папироска найдется? Моя немного измялась.

Мне понравилась эта простота. Я с готовностью вынул портсигар. Она скромно села рядом.

— Пожалуйста,—и моя зажженная спичка, приблизившись к лицу незнакомки, задрожала, упала. Словно тревожный короткий крик, на мгновение лишь выхватились из тьмы концы карминной улыбки и подведенный тоскующий взгляд.

Торопливо набрал из коробки целый пучок. Опять зажег.

— Хи-хи-хи...

Я напряженно, внимательно всматривался в это лицо, в глаза, прятавшиеся до сих пор под крыло шляпы. Рефлекс не обманул. Да, это была Сюзен. Только, боже мой, как она изменилась!

— Хи-хи-хи... Узнали? И я вас узнала, еще раньше. Но вот не помню, где видела.

Я сказал.

— Ага-а-а! — и свое удивление и свое волнение она внезапно заглушила терпким, хрипловатым, раскатыстым смехом.

Еще недавно, взглянув на эту одинокую, задумчивую женщину, обласканную вечерними лучами, кто сказал бы, что она так может — хохотать? Неужели черная, скромная одежда была только маской цинизма, а печаль — только насмешкой?

Я растерялся. Встал.

— Monsieur, monsieur... — подыскивала она слова, хватая меня за рукав, но она никогда не знала моего имени. Никогда и не узнает. И каким-то заглушенным, низким, таинственным голосом она зачастила:

— Идем, идем, идем, мой мальчик... Не бойся... Я же знаю, отчего ты здесь сидишь. Идем ко мне, не бойся...

Я освободил рукав, и тогда мне послышался тихий, безнадежный стон:

— ...целые сутки не ела...

Я вынул три рубля, дал ей, сам торопясь прочь.

— Мерсі... но постой же, дурачек, идем со мной... идем...

Минуту спустя вдогонку мне раздался жутковатый хохот:

— Ах-ха-ха! Вот свол-л-л-л...

И к ногам осеннего парка в грудном, сарданическом порыве упало:

— Испугался! Ха-ха!..

Над воротами вспыхнули фонари. Лицо менестреля болезненно дернулось и тотчас же стало еще более холодным, суровым.

Я вышел. Мне навстречу верещала сирена, что завтра снова будет день.

Харьков, 1926.

ИЗ ТЕМНОЙ ПЕРЕДНЕЙ

Утром Ян спустил ноги с топчана и, лениво позевывая, обвел глазами полутемную переднюю заводской конторы: кто-то, кажется, постучал со двора?

Вошла его жена Клиמצя. Принесла с поселка съедобного и мешок.

Только теперь Ян вспомнил, что сегодня суббота и что он уже две недели не был в поселке. Клиמצя пришла с мешком — значит, сегодня надо нести домой уголь.

Ян поморщился, почесал щеку, буркнул:

— Садись.

Каждый раз, когда приходилось тайком переносить домой уголь, ему было немного не по себе. Иногда пробовал отказываться (а вдруг — попадешься?), но Клиמצя в таких случаях уверенно говорила:

— Ну, что ты, старик... Небось, тебе не впервой... Пронесешь как-нибудь... Иль, может быть, жалко... завод обеднеет? — и, понурившись, она тихо добавляла:

— Надо же...

Ян знал, что надо: углем, ведь, не страшно разводить аппарат — дыма нет — да и напиток получается чище, без „душка“. И хотя он колебался, но, в конце концов, все колебания побеждала одна мысль: теперь, когда завод считается народным достоянием, и, вправду,

не стоит себя особенно стеснять. Теперь для таких хозяев, как большевики, не грех бы и весь завод дымом пустить, не то что горсть угля взять...

Ян скомкал мешок и положил его в угол, под лестницу.

— Ну, что там дома? — спросил он, насупясь.

— Да что дома? Все то же. Белья тебе не принесла, придешь сегодня, переменишь, — озабоченно сказала Климця, завязывая узелок.

— А Зося как там? Смотришь ли за ней?

— Зоська? Разве ее здесь не было?

— Нет. Да разве и она с тобой пришла?

— Ну да... Верно, забежала куда-нибудь. Вот уж золотко... Девка, что твой добрый москаль¹, а все еще ветер в голове...

— Ты это о чем? — насторожился Ян.

— Разбаловал ты ее, вот что. Дочь-то, мол... единственная, мол... — передразнивая, покачала Климця головой и повернула к дверям.

Ян хотел ее остановить, хотел еще спросить о дочери, но, раздумав, только с мягким укором сказал:

— Чего вы так рано расходились?..

— Рано? Небось, работы мало? Четверо рук и то не управишься, — бросила уже с порога.

Ян посмотрел ей вслед, провел ладонью по лицу и, подтянув свой ременный пояс, поплелся в контору. Был он еще довольно крепок, хоть и добрых полвека стояло за плечами. Только спина немного согнулась — горб.

¹ Солдат.

В конторе, как всегда, принялся обходить столы и вытирать пыль. У одного стола что-нибудь сдунет, на другом небрежно махнет раз-другой, точно мух сгоняет. Так изо дня в день, пока никого не было, толкался он с тряпкой в руках, передвигал стулья и столы, бормотал что-то себе под нос, оглядывал привычным взглядом, все ли в порядке.

От тряпки поднялась пыль, и от окна наискось через всю комнату упал золотой столб. Ян почему-то на минуту остановился перед ним, загляделся, как танцуют тысячи диковинных пылинок, и ему стало чудится что-то далекое, как будто немножко грустное. Казалось, что так уже было не то] наяву, не то во сне... Вот так же стоял он в золотом столбе и тоже утром, только было еще что-то, очень хорошее или очень плохое — трудно вспомнить...

А на дворе звенела весна. Было то время, когда в заводском палисаднике цвел жасмин, сладкой тоской наполняя грудь, а ночами над заводом и поселком неустанными трелями захлебывались соловьи.

Ян раскрыл окно. Дохнуло бодрым утренним холодком и пряно запахло цветы.

За палисадником, на дворе поодаль стояла группа людей. Среди них в кожаной куртке и таком же картузе — предзавком Савка Безулый.

Лицо у Яна сразу изменилось — узнал Савку.

— Ишь, чорт кожаный, — сердито пробубнил он, — спозаранку на ногах... будто и всамделишный хозяин...

Но едва он успел отвернуться, чтобы поскорее прибрать в комнате завкома, как послышался шорох в кустах. Кинулся к окну — в палисаднике два подростка торопливо обрывали ветки жасмина.

— Куда? Я т-тебе! — крикнул Ян, замахнувшись тряпкой.

Ребята мигом перемахнули через забор, и один из них, высунув язык и скорчив „рожу“, сердито прохрипел:

— У-у... Барррбос!

Потом, немного отбежав, оба зашлись хохотом.

Ян в ответ хлопнул окном. В другое время он проучил бы их, знали бы, сорванцы, как грубить старшим, а теперь...

— Зацепи-ка... Теперь, ведь, „слабода“... сварливо-иронически покачал головой и пошел в комнату Савки.

Сердито оттопырив усы, он взмахнул несколько раз тряпкой по шкафу, потом остановил взгляд на легкой усмешке Ильича, наклонявшегося над столом, и, прожевав какую-то неясную мысль, вдруг торопливо взялся за работу.

Не любил Ян этой комнаты. Даже больше — ненавидел ее. Ему невтерпеж был и предзавкома, тот самый, которого он помнил еще оборвышем-пастушком. Когда-то Савка звал Яна, важного господского кучера, не иначе, как „дядя“. А теперь Савка восседает в этом кабинете на месте прежнего хозяина и говорит Яну:

— Товарищ...

— Какой я тебе, чорта лысого, товарищ? Нешто вместе пасли? Иль из памяти вышибло, как я тебя ремнем потчевал за яблоки из директорского сада? — часто думал Ян.

Он не мог забыть, как Савка в бурные дни революции грозил ему наганом, требуя отпереть директорскую конюшню, как потом при всех дал ему по шапке и к тому же пригрозил:

— Погоди-ка, пане Яне, с тобой мы особо поговорим.

И поговорил — на другой же день отрешили Яна от должности.

Натерпелся он горя, пока упросил взять его сторожем в контору.

Правда, все это было несколько лет тому назад, притупляться стало, отходить с потоком дней, но все же обида тяжелой тиной осела в сердце Яна. Он был слишком горд: раньше все его уважали, и сбить шапку с себя он не позволил бы даже эконому, не то что какому-то „молокососу“ Савке.

И теперь, приглядываясь ко всему, что творилось вокруг, он только пожимал плечами и никак не мог понять и примириться.

Закончив уборку, Ян вернулся в переднюю. Достал в углу ведро, умылся, потом железной гребенкой старательно расчесал липкие, рыжие с проседью волосы и пышные с бакенами усы.

Это — старая Янова привычка. Еще с тех времен, как был лакеем, да и потом — кучером. Привычка, за которую до сих пор его подраживали „паном-Яном“. Но как бы там ни говорили, как бы искоса ни поглядывали, он знал одно: чистому человеку всегда больше уважения, а замурзанная шантрапа всегда завидует чистому. Потому он и в праздники обязательно надевал гуттаперчевый воротничок и добросовестно чистил ваксой сапоги.

Перекрестившись на затканый паутиной угол и прошептав короткую молитву, он, наконец, вынул из мешка завтрак и, не спеша, опустился в широкое старинное кресло с продраным сиденьем. Это кресло он

сам раздобыл: приволок его из заводского каретника, где оно валялось среди прочего хлама, и, хоть из кресла выпирали вместе с соломой обнаженные пружины, он ревниво оберегал его, словно некое сокровище, никому не позволяя садиться. Разве его жена, пани Климця, придет из поселка, или волчком вскочит дочурка, веселая Зося, — им можно.

Вспомнил Зосю... Зося!.. Что-то он стал за ней примечать... Впрочем, кто его знает... может, показалось?..

С темной передней и с креслом Ян давно освоился и даже привык к ним. Тут, ведь, он жил, только час от часу навещаясь в поселок, а, кроме того, от них пахло „добрым“ старым временем.

За дверьми, за окнами катились быстрые радостные дни. Там пела всепобеждающая жизнь, там проплывали шумные, расцвеченные манифестации и гремели гимны, а он, как паук в углу, сидел в темной передней, прислушивался ко всему и только досадливо покачивал головой:

— Вот комедианты, — думал он, — и когда все это кончится?..

После завтрака Ян машинально встряхнул кисет и скрутил толстую цыгарку из конторской бумаги. Под порыжевшими от дыма усами слегка зашипело. Серенькие глаза забежали в щелочки, и все лицо потонуло в синем, сладковатом облачке.

Начинался рабочий день. Чаше и чаще поскрипывали двери — надоело... Так вчера, так и позавчера — всегда одно и то же...

Издали Ян узнавал каждого по походке. Одних намеренно старался не замечать, а с другими приветливо здоровался, услужливо открывал двери.

Он хорошо знал, кому и сколько нужно уделить внимания.

Вот слышались шаги Савки — он мигом повернулся спиной и притворился занятым: пусть, мол, начальство знает, что служба на месте, но с таким начальством лучше не встречаться...

А весна будто подменила людей — все, приходившие теперь в контору, казались будто веселее, чем всегда, свежее. Многие в белом.

Девушки с цветами на груди и в прическах, подвижные и бодрые.

Даже бухгалтер, черствый и мрачный старичок, проходя сегодня сенцы, мурлыкал себе под нос невнятную песенку.

Весна отражалась и на Яне. Он невольно проникался теплым настроением. Кроткое спокойствие наполняло все его тело, растворяя застарелую враждебность, смягчая...

За дверьми, в конторе уже выщелкивали счета, горошком рассыпались машинки, и надо всем стояло заглушенное гуденье рабочего дня.

Через темную переднюю все проходили и проходили озабоченные люди. Они почти не замечали Яна в глубоком кресле. Они безразлично шаркали мимо него.

Ян также из-под нависших бровей лениво оглядывал их, довольный тем, что его не беспокоят. И не хотелось ему думать ни о чем. Разве только о прошлом... Он отдыхал душой, когда мысли были в давно минувшем. Тогда радостно и тепло немело у него в груди.

Было у Яна прошлое — вернется ли?.. Вернутся ли к нему спокойные, сытые дни, когда не надо будет

дрожать на каждом грошом, и Климця снова станет печь вкусные пироги, ставить к обеду настоящий штофик, когда все будут уважать его и никто не посмеет сказать ему „барбос“? А Ян оденет расшитый жупан и, выйдя на площадь перед конюшней, где парни холят горячих коней, закрутит ус и гаркнет на весь двор:

— Эх, постреливай кнутом, а то не дам кандеру¹!

Или вылетит на четверке в степь, на смерть пугая прохожих, а барчуки только хохочут сзади да хлопают по спине:

— Ай-да Янек!

— Товарищ, — высунулась из конторы голова „вхс-дящего“, — завком зовет.

Сладкие воспоминания оборвались.

Ян заморгал глазами, подтянулся, пошел.

— Здравствуйте, товарищ Ян, — с привычной простотой поздоровался Савка.

— Драс... — угрюмо пробормотал Ян.

Ему стало неловко.

— Отнесите, товарищ, это письмо в клуб и сейчас же возвращайтесь с ответом.

Ян машинально зашагал к дверям.

... В клубе, стоявшем на противоположном конце заводского двора, несмотря на рабочее время, было шумно. Стучали молотками в стены, что-то прибавали.

Молодежь проворно сновала со знаменами, плакатами, еловыми ветками.

— Что это у вас? — насмешливо прищуriv глаза, спросил Ян у ближайшего парня.

— Сегодня будут красные крестины.

¹ Суп из крупы, которым обычно кормили батраков.

— Крестить, значит, будете? — усмехнулся Ян, — попами, значит, стали? Ну, и дела...

У выхода он с любопытством заглянул в раскрытую дверь зала, и, пораженный, отшатнулся: среди девушек, которые плели гирлянды, сидела на полу Зося. Пригляделся внимательнее — так и есть, это она, его золотоволосая Зося в пестрой кофточке.

— Зося! — позвал Ян.

Стучали молотки, стоял веселый гомон, и она, верно, не расслышала.

— Зоська, проклятая девчонка! — крикнул он громче, но ее совсем заслонили.

Ян вспомнил, что Савка ждет, и махнул рукой. Решил после поговорить.

Всю дорогу до конторы он думал о дочери и никак не мог взять в толк, чего ради она вертится на заводе, да еще в клубе, да еще в субботу, когда и дома работы много. И почему она не зашла к нему? Должно быть, побоялась... Солгать не хотела, а помнит хорошо, что он запрещает ей ходить по клубам.

Это его встревожило. Зосю, свое сокровище, он любил больше всего. Он считал ее своей неотъемлемой собственностью, на которую никто, кроме него, не имеет никаких прав, и ревниво ее оберегал.

Передав Савке ответ, он вернулся в переднюю, но сидеть уже не мог. Дрожали руки, когда сворачивал цыгарку. Поспешно выкурил, бросил в угол и тут же вспомнил, что в углу лежит мешок, который может прогореть. Кинулся к мешку, притушил сапогом. Потом бережно развернул его, приглядываясь, не прожгло ли, в самом деле, и раздраженно швырнул под лестницу.

Уголь, Зося, Савка, — все смешалось, закружилось, поплыло... Никак не мог понять Зося. Он давно уже замечал, что Зося отбивается от рук, но успокаивал себя тем, что она молодая — хочется, ведь, ей погулять.

Но все-таки неужели она не понимает, неужели не чувствует?.. Неужели она?..

Темное подозрение змейкой извивалась под сердцем и всасывалось все глубже и глубже...

И снова Ян в кресле. Растерялся. Задумался.

Позовут его — он машинально подымет, как во сне, а потом, возвратясь, снова сядет на свое место и думает.

Отгудел полуденный перерыв. День накренился, и в темную переднюю заполз осторожный луч.

Свернуть бы еще цыгарку да затянуться так, чтоб... вдруг из конторы с бумагой в руках выскочила Зося.

Он в изумлении раскрыл рот.

— Когда-же ты прошла, что я тебя и не заметил?

— А вы, верно, дремали... Я не одна была — вы и не заметили... — и Зося, сунув бумагу за пазуху, суетливо затеребила пальцами пучок цветов, приколотых к кофточке.

Была она стройна, подвижна, красивее всех, как казалось Яну.

Он нежно взглянул на нее, и от быстрого взгляда, от золотой пряди из-под косынки, от сочного разреза пунцовых губ пахнуло на него сегодняшним бодрым утром.

Он гордо, счастливо усмехнулся и, кивнув головой в сторону конторы, спросил:

— Чего ходила?

— Михайлов заболел... Просил, когда буду на заводе, напомнить о нем.

— Когда буду на заводе... А на что тебе сдался этот самый завод?

Грудь ее взволнованно подымалась, пальцы дрожали на цветах. Она низко склонила голову и непринужденно-тихонько принялась что-то напевать.

Ян покачал головой.

— А что это у тебя за бумажка?

— Где?

— За пазухой.

— А... это тоже Михайлову просили передать из конторы.

— Покажи.

— Вот еще... Все равно не прочтете... Зачем вам? — и она прижала руку к груди.

— Покажи.

— Да, ведь, неинтересно, ей-богу, неинтересно... — смутилась Зося.

— Ах, лучше бы ты с Михайловыми дел не имела...

Из-под нависших бровей он внимательно посмотрел на зардевшиеся девичьи щеки и медленно, задумчиво провел рукой по усам. Далекий вообще от мысли, что Зося может что-либо упорно скрывать от него, он и сейчас готов был ей поверить, но назойливая змейка все сильнее и сильнее сосала сердце.

— А что ж там дома?

— Да... ничего...

— Что мать делает?

В это время вихрастая голова мальчугана, обрывавшего утром жасмин, просунулась в двери и, узнав в полумраке девушку, крикнула:

— Зоська! Иди! Там тебя зовут.

Зося прыгнула к дверям. И мигом, будто сзади его подкинуло пружинами, Ян выскочил из кресла.

— погоди!

Зося остановилась за порогом.

— Иди сюда.

— Но мне некогда. Там ждут...

— Иди, говорю! — по-отцовски возвысил голос, но Зося стояла неподвижно.

Тогда он сердито зашипел сквозь ошетинившиеся усы:

— Это что такое? Что это за шваль с тобой за панибрата? А? Чтоб тебе у меня же на глазах вот такие сморчки кричали „Зоська“, точно какой-нибудь потаскухе?

— Да что вы, отец?.. Это же другие позвали.

— Молчи! Кто другие?

Вихрастый паренек, стоявший вблизи, вдруг приснул со смеху и, повернувшись на одной ноге, с шумом поскакал к воротам.

Ян вскипел.

— Я спрашиваю, кто это другие? Чего шляешься по клубам? — и он схватил девушку за рукав.

— Отец, что вы, в своей ли памяти? Оставьте, а то убегу...

— Убежишь? Таишься от меня? Я т-тебе покажу!

Возмущение и ревнивая подозрительность полностью овладели Яном. Дольше он не мог себя сдерживать.

— Покажи бумажку!

Девушка испуганно взглянула на отца. В глазах вспыхнул огонек отчаяния.

Она скрестила руки на груди и твердо сказала:
— Не дам.

Тогда Ян иступленно встряхнул ею раз, другой и силою запустил ей за пазуху волосатую руку. Зоя вскрикнула, но больше не сопротивлялась.

Через минуту Ян уже разглаживал у себя на коленях смятую бумажку и нетерпеливо вглядывался в большие заглавные буквы. Собрав все внимание, все свои познания, он после долгого напряжения прочитал: „Анкета“. А дальше было написано так мелко что и глазом не проймешь. Дать кому-нибудь прочесть он не решался. Долго и упорно глядел в потолок, сощуриив глаза, будто хотел что-то припомнить, и, наконец, безнадежно развел руками. Смятая бумажка щекотно задрожала в его руке, напомнив момент, когда он насильно отымал ее.

Он разорвал бумажку, бросил на пол. И сразу стало жаль девушку, а к себе самому поднялось гнетущее отвращение. Тяжело вздохнул, потупился. И уже до самого конца рабочего дня, пока все не разошлись, он ходил, будто в воду опущенный.

Когда контора опустела, он почувствовал себя лучше. Он остался, наконец, один со своими болями и своими мыслями и с жаром приступил к работе. Работы было не очень много — повыметать, повытирать, чтобы в понедельник притти на готовое. Однако, он шмыгал по всем углам, оглядывал каждую мелочь, всем столам уделил равное внимание и все чернильницы пообмывал. Ему хотелось растворить в работе неприятный осадок сегодняшнего дня и затянуть работу до сумерек.

Как только стемнело, Ян позапирал двери, передал ключи завхозу и, успокоенный усталостью, с легким

довольством самим собой, вышел на улицу. Мешок сунул под мышку.

Над заводом горели огни, и закопченный каменный великан, как всегда по ночам, казался иным, немного странным, более строгим, чем днем.

В воздухе реял насыщенный весенними запахами молодой гомон. Из темных уголков катился беззаботный смех, такой бодрый и страстный, и пропадал где-то в гуще заводских усадеб — казалось, там, где еле слышно бренькала мандолина...

Ян постоял, оглянулся и пошел вдоль заводской стены, вниз, к самому пруду.

Он знал завод, как свои пять пальцев. Каждую щелочку, каждую ямку он мог найти наощупь. Около пруда он обошел гнилую заводь, заваленную ржавыми заводскими отбросами. Юркнул в канаву. Подполз к углу, где начинался досчатый забор...

Позади на болоте квакали лягушки, впереди было совсем тихо. И только завод сбоку глядел хмуро и строго.

Яну это было уже не впервые. Хоть и сидел он целыми днями в темной передней, будто никого и ничего не замечая, но все у него было рассчитано до мелочей. Он только слегка крикнул, на минутку скрылся за забором, словно забор проглотил его, а через минуту, согнувшись, по той же канавке тащил в мешке уголь.

Отсюда до поселка было дальше, но зато безопаснее. Сегодня он решил дать небольшой крюк: пойти новым путем, над берегом, орешником, затем межою прямо к себе во двор. Выбравшись из канавки, он внимательно прислушался, огляделся, — нигде никого, только издали глухо ворчал и угрюмо с укором глядел темный великан, да под самым ухом квакали лягушки...

За орешником, над пригорком занималось зарево — всходил месяц. Из камышей куделью ползли туманы и, ощупав берег, крадучись проплывали в степь. Холодок бодрил, подгонял.

Казалось Яну, что сзади за ним следит кто-то невидимый, и он поторопился дойти до орешника, пока месяц не захватил полнеба. Тут, в темноте, сел под кустом, счастливый, что минул опасные места. Так приятно было расправить усталые мышцы — потянулся... Закрыв глаза...

В памяти выросла Зося. Ян уже приготовился поговорить с ней обстоятельно и ласково, а в первую же получку купить ей в кооперативе цветистый платок, чтоб она не ходила, как те комсомолки, в надоевшей красной косынке. Кабы деньги, он ей много всякой всячины накупил бы и к работе не принуждал, — пусть бы росла себе спокойно и радостно на зависть соседям. И тогда бы никто не посмел звать ее „Зоськой“, а вежливо говорили бы „панна Зося“, и тогда бы он ей обязательно высватал „панича“.

— Их! Тьох!.. — откуда-то из чащи грянул соловей. Месяц подплыл выше, и низиною между пней да коряг поползли влажные тени.

Ян встал, пошел дальше.

Чтоб не вынырнуть сразу на освещенную поляну, он взял немного в сторону, прошел кустарником до самого его края и только тут смело ступил на межу. Наискось через поляну когда-то проложили тропинку. Редко кто по ней теперь ходил, но Ян все-таки решил быть осторожным и, спотыкаясь, шел немного поодаль.

До поселка было уже недалеко — минут десять ходьбы.

Вдруг на дороге, словно из земли, выросли две темные фигуры... Молча, не спеша, прижавшись друг к другу, они подвигались навстречу. Они еще не заметили Яна, но были так близко, что слышался шорох их шагов.

Ян съежился, присел.

И в тоже мгновение звонко ударило на всю поляну:
— Стой! Кто там?

Он плашмя неподвижно припал к земле.

— Кто там? — вновь сорвалось с тропинки и катилось уже прямо на него.

Сердце у Яна на момент перестало биться, потом застучало часто-часто — и Ян полетел в бездну.

— Кто это? Вставай! Ну-же, вставай! — сердито прозвучал над его головой как-будто знакомый голос.

Ян поднял голову. Перед ним, у межи, по колени в бурьяне, стоял Савка.

— Это вы, Ян? Чего вы тут?

Ян молчал.

— А это что за мешок? Ага, уголь...

— Ой, товарищ Савка, не губите, — испуганно засуетился Ян, не губите, голубчик... У меня дети, жена... недостатки, сами знаете... не губите!..

Савка поднял руку, застыл. Потом решительно нагнулся к нему и прошептал:

— Молчи, негодяй... Помни, чтоб это было в последний раз. Катись! — и ткнул сапогом в мешок.

Ян покорно, быстро встал.

До самого дома он уже не оглядывался. Шел почти бегом, и ноги казались ему чужим, странным механизмом. Все вокруг было, как в густом тумане. В голове — пустота и боль.

И когда Климця на его окрик открывала двери, его собственный голос показался ему тоже странно-чужим.

— Почему ты так долго? — спросила Климця.

Яна вдруг словно крючком рвануло изнутри. Он поглядел на нее с дикой суровостью и так швырнул на середину кухни мешок, что с полу поднялась целая туча, и испуганно задрезбужали кухонные полки с посудой.

— Да чего ты, Ян? — тихо и тревожно вскинула Климця припухшие глаза.

Все, что накипело в нем за целый день, теперь готово было взорваться бешеным гневом. Но он вспомнил о Зосе. Сдержался.

От печи шло духмяное тепло. Лежанка была чистая, старательно обмазанная розовой глиной. На всю хату стоял запах свежего, еще горячего хлеба.

Раздражение Яна мало-по-малу проходило, и он принялся молча скручивать цыгарку.

— Умойся, Ян, — осторожно подошла к нему Климця.

Тогда он, неожиданно для самого себя, с каким-то непонятным трепетом взял ее за локоть и, оглядываясь на другую комнату, чтоб не услышала Зося, тихонько рассказал ей обо всем, что с ним произошло. Закончив, тихо спросил:

— Зося спит?

Климця заморгала глазами и подняла к носу конец передника.

— Что такое? Зося спит, спрашиваю?

— Нет Зоси.

— Где же она?

— Нет Зоси... пошла... с Савкой пошла...

Будто громом ударило Яна, — все вокруг задрожало, затанцевало перед глазами.

— Как ушла?

— Вчера поссорилась со мной, а сегодня на заводе где-то пропала... ведь, я тебе говорила, помнишь?.. Потом днем прибежала и плакала... А тут недавно постучал Савка. Никогда не ходила, а теперь пошла.

— Да что это такое? Не понимаю...

Климця бессильно склонилась на дверной косяк и с безнадежной горечью всхлипнула:

— Может, и в комсомол пойдет... собирается... И Савка зачистил... Я только боялась тебе говорить, думала — подурит девка да и опомнится... И богу давно перестала молиться.

— Так это она?.. Ну, теперь я все понимаю, — глубоко вздохнул Ян, — теперь все...

Машинально сел на мешок с углем и низко опустил голову.

— Что? — спросила Климця.

Он не ответил.

Замолчали. Молчали долго. В хате стало тихо, словно на погосте.

И лишь где-то в ночных далях торжествующе-страстно захлебывались соловьи.

Харьков, 1924.



В БЕРЕГАХ

На столе клубился паром самовар.

Певза, не торопясь, разглаживал черные, как смоль, усы и всклокоченную бороду и медленно, почти торжественно наливал в блюдечко душистое питье.

С блюдечка поднимался пар, обдавая ему лицо. Лицо, как губка, морщилось, борода и усы щетинисто дыбились, а глаза, и без того маленькие, обращались в еле заметные точки.

Певза легонько клал на зубы сахар, стараясь подольше сосать его, и с какой-то особенной осторожностью подносил блюдечко ко рту.

Озабоченно дул, с наслаждением прихлебывал.

Лишь от времени до времени, когда глаза наталикивались на фигуру Надии, выражение его лица менялось, точно прохладный ветерок пробежал между кустиками бровей и бороды — он становился на минуту строже.

Надия казалась слишком покорной. Молчала. Но Певза хорошо знал, что такая покорность и молчаливость — лучшее доказательство ее недовольства: работы, ведь, и так много, а он в будни задал ей неожиданных хлопот с самоваром. Правда, заказывая самовар, он сослался было на ломоту в костях — нужно, мол, распарить — да разве Надия поверила?

„Ну, и не верь“, — думал Певза, отводя глаза в сторону — „значит, я так хочу. А раз я хочу...“

Это была застарелая неприязнь к жене — с тех пор, как она, подарив ему дочь, заболела и стала бесплодной. А он так хотел сына! Так хотел иметь хорошего хозяйственного заместителя. Надежды, нашептываемые знахарками, с каждым днем утрачивали для него свою силу, и неприязнь к жене с каждым днем росла. Чем дальше, он все чаще начал заглядываться на других, и присутствие подурневшей и покорно-молчаливой Надии раздражало его, вызывало даже иногда грубый гнев.

— Ну-ка, налей еще, — вытираясь полотенцем, с важностью сказал и отвернулся.

Глаза попали прямо на окно с блестящими от солнца стеклами. Он невольно сощурился. Отклонившись немного в тень, бросил взгляд на двор, пробежал по гнилым лужицам до дверей хлева, и воображение сразу нарисовало ему двух породистых кабанов, тяжело хрюкавших там, за стеной; потом перескочил глазами на гумно и с удовольствием вспомнил, что скоро перешьет крышу новыми снопами и что кулей ему, возможно, хватит еще на сарайчик; наконец, остановился на углу обора¹, где рыжая телка обнюхивала загородку и лениво покачивалась...

„Славная пеструшка“ — с гордостью подумал Певза.

Солнце, чудесное весеннее солнце, наполняло двор — день казался особенно радостным, точно праздничным. Солнце пробивалось сквозь оконные стекла, и Певза чувствовал, как оно начинало легонько щекотать его

¹ Обора — место, загороженное для скота.

руку, свесившуюся со стола. Певза постепенно проникался более мягким настроением. Все, что попадалось ему на глаза, убеждало, что он деловой, хозяйственный, достойный внимания и уважения человек, и в нем еще сильнее росла уверенность и любовь к себе.

— Пей, а то простынет,— предупредительно бросила Надя.

Он вздрогнул, сразу нахмурился. Надя опять напомнила о связанном с ней неприятным, почти болезненным чувстве. Но он пересилил себя, постарался успокоить мыслью, что вопрос этот рано ли, поздно ли обязательно разрешит: в крайнем случае, кто, дескать, откажется присесть к его добру?

И, вкусно схлебывая с блюдечка, вкусно обсасывая усы, он перенесся мыслью далеко-далеко... Перед ним уже расстилались, разбегались весенние поля, еще окаймленные по межам и оврагам сизым снегом, по которым прохаживался он вчера, обдумывая, когда именно пора будет выезжать с плугом. Там же в стороне тянулась развороченная колесами придорожная полоса, которую он в прошлом году обошел, но теперь тот кусок, что выхватился на склоне, непременно надо запахать. Все же перепадет лишняя мера на уплату за помол, или за молотьбу. Вот еще надо закончить дело с мельницей. Что же, пускай кулаком величают (Певза усмехнулся), а все-таки большинство коллектива уже за него... надо склонить на свою сторону еще нескольких наиболее несговорчивых... а когда... будет мельница...

— Ану, налей-ка еще.

Мысли бежали свободно, смело. Простые, жизненные, уверенные мысли.

к запрудам (трудно разглядеть). Во всяком случае, ближайшая прибережная полоса уже свободна: иначе Петров луг не могли бы затронуть. Так было и в прошлом году, так же воровали. Только в прошлом году Певза меньше беспокоился, надеялся, что негустые поросли в его владениях не могут еще привлечь к себе чьих-либо жадных глаз. И правда — не тронули. Но вот эта сегодняшняя кража... Уже началось. А впрочем — кто знает?

Певза терялся. Можно ли верить? Хоть вода и отхлынула, да кто бы успел так скоро? Хоть и поднял тревогу Петр, так, ведь, это Петр! Он за гнилую хворостинку готов голову пробить.

„...А как же... бедняком притворяется. Обокрали, мол... Несчастный... бедняк... А этот бедняк повернет сегодня штаны, возьмет остроги да пойдет по чужим заводям рыбу бить... И наловит, как в прошлом году, карпов да вьюнов... и варить будет, и солить, и на базар носить...“

Певза на минуту остановился.

„А почему бы и мне... с острогами?“

Но в ту же минуту подоспел ответ:

„Нет, из-за ловли да еще простудишься. Пускай иные, кто поглупей“.

Перед ним все ближе и ближе разворачивался поемный луг. Крепчал солоноватый запах ила. Прибрежье, с которого уже сошла вода, желтело по кочкам щетинкой прошлогодней осоки и водорослей, а дальше, особенно левая сторона была покрыта блестящей гладью, и затопленные кусты по рвам беспомощно выныряли верхушками, словно протягивали вверх свои ручонки. И только там, за далеким

косым узором кустов, гладь будто начинала шевелиться, а еще дальше, на стрежне — синевато-серый изгиб.

Певза облегченно вздохнул: сюда, в самом деле, еще трудно забраться. Шагнул на край берега и прошел по нем до бугорка, откуда лучше можно было осмотреть правую сторону. Эта сторона была суше, обильнее кустами. За сажалкой уже начинались и густые соседские верболозы. Сизые, желтые и кое-где почти огненные, они тянулись вдоль огородов и казались издали цветной пряжей, которой было так много, что Певза невольно вздохнул.

„Ничего... даст бог... даст бог“.

Он спустился к самому лугу. Скользя, пошатываясь, пошел по гребню рва, обсаженного ивняком и отделявшего его сенокос от чужого. Гребень, который концом своим терялся в реке, с каждым шагом становился мягче, вода выступала и чавкала под ногами. Далеко не пройти — Певза это знал. Не спешил. Хотел только осторожно продвинуться, насколько позволит почва, чтобы лучше присмотреться, проверить.

Пригнулся. И тогда сквозь сетку ветвей увидел: на углу поперечной канавки, отделявшей болото, там, где этот угол холмиком выступал из воды, где поднималось несколько молодых стволов, там, прячась за холмик, шевелится красноватое пятно.

У Певзы захватило дыхание. Рой красных и зеленых мошек странной слепящей паутиной поплыл перед ним. Певза протер глаза, взглянул пристальнее.

И сразу понял: это женщина (какая-нибудь из соседок) притаилась и складывает нарезанную лозу в сноп, чтобы потом удобнее было вынести. Это

какая-то очень смелая, потому что пробраться на холмик, вчера еще, вероятно, бывший под водой,— нелегко. Да и топь весной небезопасна. Но именно этим рискованным шагом она и хочет отвести подозрение. Кому, дескать, может в ум притти?..

Певза вскипел. Хотел было крикнуть, но сдержался, сообразив, что криком ничего не достигнет — убежит вор и даже не узнаешь, кто он.

Опять пригнулся, глянул, но ветерок покачивал сетку ветвей, заслоняя холмик путаными теновыми пятнами. Все же он заметил, как красное пятно слегка шевельнулось. Тогда, соображая, повел кругом глазами и, согнувшись, поспешно перебрался на соседний ров. У него уже созрело решение — правда, не сложное, но обещающее успех: обойти полукругом, где тверже почва, попасть опять на гребень своего рва, непременно пробраться на ту кочку, где в прошлом году он посадил осокорь (там будто островок) — и тогда... тогда он узнает. Тогда и поймать можно, потому что вору нет иной дороги для бегства, как только прямо на него, на Певзу. А если вздумает в брод, то опять-таки попадет прямо на его огород... И он поймает, обязательно поймает.

В памяти почему-то мелькнул образ покорной, надоевшей Надии. О, конечно поймает... Не вырвется!

И подхваченный каким-то новым, непонятным, страстным порывом, он крепко цеплялся за кусты, приседал, изгибался, размахивал руками, чтобы удержаться, прилагал все усилия, чтобы не шуметь, чтобы захватить врага врасплох. Несколько раз ноги соскальзывали, он проваливался в болото. На обрыви-

стой яме, где надо было перепрыгнуть, больно ударился коленом, набрал в сапоги ледяной жижи.

Но ничто не могло остановить. Злость, упорство, глухое звериное чувство неумно толкали его.

Когда опять попал на свой ров, соседские берега, все больше суживаясь, уже клином легли вправо, а перед ним совсем близко выхватился поворот реки — первое колено стрежня, начинавшегося от плотины. Неподалеку, саженьях в пятнадцати, горбом поднималась и сама прорванная плотина. Из ее развороченной пасти, пенясь и шумя, грозно мчался мутный поток.

Певзе слегка стало не по себе. Он поспешил отвести глаза в другую сторону. Но холмика, где таилась добыча, разглядеть не мог — его еще заслонял ряд густой поросли.

Сердце зачастило...

Теперь только перебраться на островок. Вот он. И осокорь на нем стройный и крепкий, словно молодой паренек. Несколько шагов. Лишь несколько шагов — правда, самых трудных. Правда, здесь не особенно глубоко, но все же... все же...

Досадливо покачал головой. Перепрыгнуть? — Нет, для него это невозможно. Перейти в брод? О, нет это тоже небезопасно!

Однако, и остановиться, когда столько уже преодолено, когда добыча почти в руках, когда остается всего четыре-пять шагов — остановиться тоже невозможно. И он вспомнил, что, пробираясь сюда, видел под гребнями рвов немало всякого хлама, прибитого разливом. Хлам этот не успели еще растащить соседские руки, но хозяйский глаз Певзы уже заметил там несколько разбухших брусков и большое бревно.

Он долго не раздумывал. Повернул назад и решительно взвалил на плечи скользкое, грязное бревно. Так было неудобно. Пришлось сбросить. Обхватил один конец рукой и поволок его, пыхтя, спотыкаясь и боясь, что этим шумом преждевременно выдаст свое присутствие.

Но все как-будто шло хорошо. Приблизившись к месту, где уже можно было перебросить мостик, он осторожно опустил к ногам бревно, на момент замер, послушал... Казалось,— все хорошо. Только с правой стороны шумела на плотине вода и, верно, этим шумом заглушала и Певзы и чужую возню. Он вытер рукавом вспотевший лоб. Быстрым взглядом измерил озерцо. Поднял и опустил бревно. Дерево, немного не достав концом другой берег, хлопнуло по воде, будто кто ударил в ладоши.

Присел тревожно. Опять послушал. Опять показалось— все хорошо. Осторожно передвинул конец мостика на более удобное место, достал таки другим концом твердой почвы и, сгибаясь, опираясь на поднятую здесь же ветку, перешел по мостику к желанной цели.

И тогда он увидел: на углу, в красноватых лохмотьях, с голыми желтовато-зелеными ногами, естественно перегнув туловище и бросив руку в воду, лежала утопленница.

Певза побледнел, перекрестился.

Сразу стало пусто-темно, точно провалился в глухую пропасть. А потом, возвращаясь к действительности, почему-то вспомнил все сегодняшнее утро: утро пролетело в сознании быстро-быстро, отдельными отрывками...

Он беспомощно, растерянно съежился.

И тогда впервые за всю свою жизнь почувствовал короткую, но какую-то особенную, незнакомую доселе боль и впервые понял, что бывают минуты, когда можно к самому себе потерять уважение и даже самого себя ненавидеть.

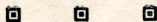
Харьков, 1925 г.

□ □ □



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие проф. А. Белецкого	5
Рассказ о бегстве	11
З я м а	65
„Нечистый“	75
Тихий хутор	85
Дни юности	97
Гайдар (степная легенда)	143
Via dolorosa (Печальный путь)	155
Из темной передней	169
В берегах	189



КОДЕКЖАННЕ

189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



3761

РЛ

4

Цена 1 руб. 30^{к.}
Переплет 25^{коп.}
Р.

